

БОЛЬШИЕ *и* КНИГИ

Говард Филлипс
Лавкрафт



УЖАС
В МУЗЕЕ

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Говард Лавкрафт

Ужас в музее

«Азбука-Аттикус»

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Лавкрафт Г. Ф.

Ужас в музее / Г. Ф. Лавкрафт — «Азбука-Аттикус»,
— (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24869-4

Говард Филлипс Лавкрафт, не опубликовавший при жизни ни одной книги, сделался маяком и ориентиром целого жанра, кумиром как широких читательских масс, так и рафинированных интеллектуалов, неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов, да и само его имя стало нарицательным. Сам Борхес восхищался его рассказами, в которых место человека – на далекой периферии вселенской схемы вещей, а силы надмирные вселяют в души неосторожных священный ужас. Данный сборник включает рассказы и повести, написанные Лавкрафтом в соавторстве.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-24869-4

© Лавкрафт Г. Ф.
© Азбука-Аттикус

Содержание

Предисловие	9
Зеленый луг	11
Ползучий хаос	15
Последний опыт	20
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Говард Филлипс Лавкрафт

Ужас в музее. рассказы, повести

H. P. Lovecraft and Others

The Horror in the Museum and Other Revisions

Copyright © 1970, 1989 by Arkham House Publishers, Inc.

«Lovecraft's "Revisions"» copyright © 1970 by August Derleth

All rights reserved

Публикуется с разрешения ARKHAM HOUSE PUBLISHERS, INC. и JABberwocky Literary Agency, Inc. (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия).

© О. Г. Басинская, перевод, 2023

© В. Н. Дорогокупля, перевод, примечания, 2023

© М. В. Куренная, перевод, 2023

© О. Б. Мичковский, перевод, 2023

© Е. А. Мусихин, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

К Н И Г И
Г. Ф. ЛАВКРАФТА

В СЕРИИ
«ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
БОЛЬШИЕ КНИГИ»

Зов Ктулху

Хребты Безумия

Иные боги и другие истории

Таящийся у порога

Ужас в музее



Говард Филлипс
Лавкрафт
и соавторы

УЖАС В МУЗЕЕ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

Предисловие

Как это ни парадоксально выглядит в свете его нынешней славы мэтра литературы ужасов, Говард Филлипс Лавкрафт при жизни основную часть своих скудных доходов получал от правки рукописей начинающих писателей и поэтов. Большинство его «клиентов» не продвигалось дальше публикаций в любительских журналах, однако в тех редких случаях, когда он встречал достойный внимания сюжет при недостатке у автора литературного опыта и стилистической изощренности, Лавкрафт занимался таким текстом более основательно – вплоть до полного переписывания – и таким образом прокладывал ему дорогу в печать.

В целом эту работу Лавкрафта можно разделить на две неравные части. Первую составляет основная масса произведений, подвергнутых обычному профессиональному редактированию – исправлению орфографии, синтаксиса, пунктуации и т. д., – а к неизмеримо меньшей части относятся произведения, с которыми он работал настолько плотно, что фактически становился их соавтором. В свою очередь, эта небольшая группа произведений подразделяется в зависимости от степени лавкрафтовского участия. Некоторые из них – как, например, рассказ Сони Грин, одну из ранних вещей Хейзл Хилд и сочинения своего старого друга К. М. Эдди – Лавкрафт не столько перекраивал на собственный лад, сколько комментировал, давая рекомендации по ходу правки. Позднее (30 сентября 1944 года) Хейзл Хилд писала о такого рода совместной работе над рассказом «Каменный человек»: «Лавкрафт подробно разбирал один абзац за другим, делал карандашные пометки и заставлял меня переписывать каждый абзац до тех пор, пока результат не казался ему удовлетворительным». В последующих рассказах Хилд участие Лавкрафта было уже более существенным – он, по сути, переписал их набело от начала и до конца, сохраняя (да и то не всегда) только главную сюжетную линию. Достаточно даже беглого просмотра рассказов «Ужас в музее» или «Вне времен», чтобы уловить присутствие в них Лавкрафта скорее как непосредственного автора, нежели как редактора или консультанта. Данное утверждение вполне справедливо и для таких вещей, как «Дневник Алонзо Тайпера» Уильяма Ламли, «Последний опыт» и «Электрический палач» Адольфа де Кастро, «Проклятие Йига», «Локоны Медузы» и «Курган» Зелии Бишоп.

Под словами Зелии Бишоп из ее статьи «Г. Ф. Лавкрафт глазами ученика» (1953) вполне могло бы подписаться большинство представленных здесь авторов: «Рассказы, которые я ему отсылала, возвращались обратно в настолько измененном виде, что я их буквально не могла узнать и остро ощущала собственное ничтожество. Но в конечном счете именно он научил меня основам писательской техники и привил вкус к литературе как таковой. Я очень многим обязана Лавкрафту и считаю своей огромной удачей то, что попала в число его учеников».

Работая с текстами начинающих авторов, Лавкрафт попутно рекомендовал им попробовать себя в жанре литературы ужасов, благо это была его стихия и в ней он чувствовал себя гораздо свободнее, чем при разборе романтических или реалистических произведений. Можно себе представить, какое удовольствие он получал, трудясь над некоторыми из таких рассказов. В обширной переписке Лавкрафта присутствует масса сетований на поэтов-любителей, которым приходится вдавливать в голову азы поэтического творчества; на бесталанных графоманов, мнящих себя гениями, и т. п. – но вы не найдете в его письмах ни единой жалобы касательно произведений его любимого фантастического жанра, пусть даже полностью им переделанных за ту же грошовую плату.

В настоящем сборнике представлены рассказы и повести, которые были полностью либо в значительной мере созданы Лавкрафтом и безусловно вписываются в «лавкрафтовский канон». Лучшие из них стоят вровень с «законными» произведениями Лавкрафта, и в этом нет ничего удивительного, поскольку он же их и написал.

Август Дерлет

Зеленый луг

Перевод Элизабет Невилл Беркли и Льюиса Теобальда-младшего¹

ПРЕДИСЛОВИЕ. Приведенное ниже весьма странное повествование, или, скорее, письменный отчет о впечатлениях, было обнаружено при исключительных обстоятельствах, заслуживающих подробного описания. В среду 27 августа 1913 года, около половины девятого вечера, жители маленькой приморской деревушки Потоуонкет, штат Мэн, США, были повергнуты в смятение оглушительным грохотом, сопровождавшимся ослепительной вспышкой, и люди на берегу увидели громадный огненный шар, который рухнул с небес в море недалеко от суши, взметнув ввысь гигантский столб воды. В следующее воскресенье трое местных рыбаков – Джон Ричмонд, Питер Б. Карт и Саймон Кэнфилд – подцепили донным неводом и вытащили на берег каменно-металлическую глыбу весом 360 фунтов, похожую (по словам мистера Кэнфилда) на кусок железистого шлака. Почти все деревенские жители сошлись во мнении, что сие тяжелое твердое тело и есть болид, упавший с неба четыремя днями ранее, а доктор Ричмонд М. Джонс, местное научное светило, с уверенностью предположил в нем аэролит или метеорит. Откалывая от него образцы породы с целью отослать оные для исследования многосведущему бостонскому специалисту, доктор Джонс обнаружил вплавленную в полуметаллическую субстанцию диковинную книжицу с нижеприведенным рукописным текстом – она до сей поры остается в его владении.

На вид находка напоминает обычную записную книжку размером три на пять дюймов, состоящую из тридцати страниц. Но вот материал, из которого она изготовлена, представляет чрезвычайный интерес. Обложка произведена из темного плотного вещества, неизвестного геологам и устойчивого к любым механическим и химическим воздействиям. Страницы обладают аналогичными свойствами, но они несколько светлее и чрезвычайно тонки, благодаря чему легко сгибаются. Книжка сброшюрована и переплетена с использованием некоего технологического процесса, не вполне понятного людям, ее исследовавшим, – процесса, в ходе которого материал страниц сплавлялся с материалом обложки. Теперь страницы неотделимы от корешка, и их невозможно вырвать никаким усилием. Текст написан на *безупречном древнегреческом языке*, и несколько ученых-палеографов утверждают, что данная разновидность скорописи имела распространение примерно во втором веке до Р. Х. Никаких указаний на дату написания в тексте не содержится. Насчет техники письма нельзя сказать ничего определенного, кроме того, что она, видимо, напоминала современную технику письма карандашом на грифельной дощечке. В результате ряда химических экспертиз, проведенных покойным профессором Чэмберсом из Гарвардского университета, текст на нескольких страницах, преимущественно в конце повествования, вытравился еще до его прочтения и посему безвозвратно утрачен. Уцелевшая часть рукописи была переведена на современный греческий палеографом Резерфордом и в таком виде передана поименованным выше переводчикам.

Профессор Мэйфилд из Массачусетского технологического института, исследовавший образцы странной породы, с уверенностью признал в камне метеорит, с каковым мнением не согласен доктор фон Винтерфельд из Гейдельбергского университета (в 1918 году интернированный как опасный гражданин неприятельского государства). Профессор Брэдли из Колумбийского университета занимает не столь категоричную позицию, указывая на наличие в каменно-металлической породе огромного количества неизвестных науке элементов

¹ Псевдонимы соответственно Уинифред Вирджинии Джексон и Г. Ф. Лавкрафта.

и предупреждая, что точно классифицировать камень в настоящее время не представляется возможным.

Обстоятельства обнаружения, природа и содержание загадочной книжицы представляют собой величайшую проблему, не поддающуюся никаким объяснениям. Сохранившийся текст представлен здесь в переводе настолько близком к оригиналу, насколько позволяет современный английский язык. Хочется надеяться, что какой-нибудь читатель в конце концов найдет ключ к верному толкованию текста и разгадает величайшую научную тайну последних лет.

Э. Н. Б., Л. Т.-мл.

(ТЕКСТ)

Я стоял один на узкой полосе берега. Передо мной, за краем изумрудно-зеленого травяного ковра, слегка волнуемого ветром, расстиралось море – ярко-голубое море, лениво катящее крупную зыбь и источающее туманные испарения дурманящего свойства. Столь густыми были эти испарения, что море казалось полностью слившимся с небом, ибо последнее тоже было ярко-голубым. Позади меня вздымалась стена древнего, как само море, леса, который простирался без конца и края вглубь суши. Под сенью бесчисленных гротескно огромных, буйно разросшихся деревьев царил глубокий сумрак. Исполинские стволы зловещего зеленого цвета причудливо гармонировали с изумрудной зеленью травяного покрова под моими ногами. Чуть поодаль с одной и другой стороны от меня таинственный лес спускался к самой воде, заслоняя от взора береговую линию и наглухо огораживая крохотный участок берега. Несколько деревьев, я заметил, стояли уже в воде, словно исполненные мрачной решимости преодолеть любое препятствие на пути наступающего леса.

Я не видел вокруг ни единого живого существа и никаких признаков присутствия здесь других живых существ, помимо меня. Море, небо и лес окружали меня со всех сторон, простираясь в бесконечные дали, недоступные моему воображению. Мертвую тишину нарушали лишь шорох колеблемых ветром деревьев да тихий плеск волн.

Внезапно меня начала бить дрожь: хотя я не ведал, каким образом очутился здесь, и не помнил толком ни имени своего, ни звания, я вдруг ясно осознал, что непременно сойду с ума, если сумею понять, какая опасность подстерегает меня. Я вспомнил, чему учился, о чем мечтал, к чему стремился в иной жизни, оставшейся в прошлом. Я подумал о долгих ночах, когда я зачарованно смотрел на звезды в поднебесье и проклинал богов за то, что моя свободная душа не в силах преодолеть космические бездны, недостижимые для моего физического тела. Я вспомнил отправления древних святотатственных обрядов и погружения в ужасные тайны демокритовских папирусов, но с возвращением памяти я затрясся от страха еще сильнее, ибо осознал, что я здесь один, совсем один. Но несмотря на полное одиночество, я все же явственно ощущал пронизывающие воздух разумные вибрации, самая мысль о природе и источнике которых приводила меня в содрогание. В шелесте зеленых ветвей мне слышались люта я ненависть и дьявольское торжество. Порой мне казалось, будто они ведут зловещую беседу с невероятными призрачными существами, наполовину сокрытыми за чешуйчатыми зелеными стволами деревьев – сокрытыми от внешнего взора, но не от внутреннего. Тяжелее всего меня угнетало жуткое чувство своей чуждости окружению. Хотя я видел вокруг знакомые объекты с известными мне названиями – деревья, траву, море и небо, – я нутром чуял, что они состоят со мной в иных отношениях, нежели деревья, трава, море и небо, которые я знал в другой, полузабытой жизни. Я не мог определить, в чем именно заключалась разница, но при одной мысли о ней я содрогнулся от ужаса.

А в следующий миг там, где прежде я не видел ничего, кроме туманного моря, моему взору вдруг явился Зеленый луг, отделенный от меня широким пространством подернутой зыбью сверкающей голубой воды, но одновременно на удивление близкий. Я то и дело пугливо оглядывался через правое плечо на лес, но предпочитал все же смотреть на Зеленый луг, чей вид вызывал в моей душе странное волнение.

Именно в момент, когда я пристально вглядывался в сей одинокий островок зелени, я вдруг почувствовал движение земли под ногами. Сначала по ней пробежала своего рода нервная дрожь, наводившая на жуткое предположение об осознанном действии, а затем крохотный пятачок земли, где я стоял, отделился от травянистого берега и медленно поплыл прочь, словно несомый мощным течением. Я оцепенел, донельзя изумленный и испуганный небывалым явлением, и стоял совершенно неподвижно, покуда между мной и покрытым деревьями берегом не пролегла широкая полоса воды. Потом я сел, все еще в оглушенном состоянии, и снова устремил взгляд на подернутую зыбью сверкающую воду и Зеленый луг.

Позади меня деревья и существа, предположительно прятавшиеся за ними, источали бесконечную угрозу. Мне не было необходимости оборачиваться и смотреть на них, чтобы понять это, поскольку чем больше я привыкал к новому окружению, тем меньше зависел от пяти чувств восприятия, на которые только и полагался прежде. Я знал, что зеленый чешуйчатый лес ненавидит меня, однако теперь он не представлял для меня опасности, ибо мой крохотный островок уже отплыл далеко от берега.

Но хотя одна опасность миновала, другая уже надвигалась на меня. От краев моего плавучего островка беспрестанно отваливались крупные комья земли, а значит мне в любом случае не избежать скорой гибели. Однако я как будто был уверен, что отныне для меня не существует смерти, ибо вновь вернулся к созерцанию Зеленого луга, дышавшего безмятежным покоем, который странно контрастировал с ужасом, владевшим мной.

Именно тогда из неоглядной дали до слуха моего донесся шум падающей воды. Не гул обычного водопада, но чудовищный грохот, какой раздался бы в далеких скифских краях, если бы все Средиземное море разом низверглось в некую бездонную пропасть. Мой неуклонно сокращающийся в размерах островок плыл в направлении шума, и я примирился с неизбежным.

Далеко позади меня творились уму непостижимые ужасы, при виде которых я затрепетал от страха, когда обернулся. Сотканное из тумана темные существа самым фантастическим образом парили в воздухе, угрожающе зависали над деревьями, словно принимая вызов раскачивающихся зеленых ветвей. Потом с моря поднялся туман, поглотивший и растворивший в себе парообразных небесных существ, и берег скрылся от моего взора. Хотя солнце – знакомое мне солнце – ярко освещало воду вокруг меня; над покинутой мной сушей, казалось, разразилась неистовая буря, когда чудовищные деревья и сокрытые за ними демонические создания вступили в яростное противоборство с духами неба и моря. А когда туман рассеялся, я увидел лишь голубое небо и голубое море, ибо земля и деревья бесследно исчезли.

И тут внимание мое привлекло *пение* на Зеленом лугу. До сего момента я не замечал ни единого признака человеческого присутствия, но сейчас моего слуха достиг монотонный напев, происхождение и природа коего не вызывали сомнений. Хотя слова звучали неразборчиво, напев пробудил в моем уме особую цепочку ассоциаций и заставил вспомнить некогда переведенный мной отрывок из одной египетской книги, в свою очередь взятый из древнего мероитского папируса. Перед моим мысленным взором всплыли вызывающие смутную тревогу строки, которые я не смею повторить здесь, – строки, повествующие о явлениях и жизненных формах, что существовали в незапамятные времена, когда Земля была еще совсем молодой. О наделенных жизнью, способных мыслить и двигаться созданиях, которых, однако, боги и люди не признают живыми. То была поистине странная книга.

Внимая напеву, я постепенно осознал одно обстоятельство, доселе вызывавшее у меня лишь подсознательное недоумение. За все время взор мой ни разу не различил ни единого отдельного объекта на Зеленом лугу – в целом он производил впечатление однородного ярко-зеленого массива. Сейчас, однако, я увидел, что течение пронесет мой островок в непосредственной близости от берега, а значит я получу возможность получше разглядеть сей загадоч-

ный участок суши и узнать, кто же там поет. Я был охвачен нетерпеливым желанием поскорее увидеть таинственных певцов, хотя к любопытству примешивалось и опасение.

Куски земли продолжали отваливаться от моего крохотного плавучего островка, но разрушительный процесс не беспокоил меня, ибо я знал, что не умру со смертью нынешнего своего тела, реального или воображаемого. Я почти не сомневался, что все в окружающем мире, даже жизнь и смерть, иллюзорно; что я превзошел тварность и смертность человеческой природы и стал свободным созданием, не связанным никакими узами. Я понятия не имел, где нахожусь, знал лишь, что не на планете Земля, некогда столь хорошо мне знакомой. Помимо своего рода навязчивого ужаса я испытывал чувства, какие владеют человеком, только что пустившимся в бесконечное путешествие по неизведанным местам. Я подумал о покинутых мною краях и людях, а также о диковинных способах, которыми я мог бы поведать им о своих приключениях, даже если никогда не вернусь обратно.

Теперь я находился в непосредственной близости от Зеленого луга и слышал поющие голоса совершенно отчетливо; однако, несмотря на свое знание многих языков, я не понимал слов песни. Да, звучали слова знакомо, как мне и показалось с самого начала, но они не вызывали у меня никаких ассоциаций, помимо смутных тревожных воспоминаний. В высшей степени необычное звучание голосов – звучание, не поддающееся словесному описанию, – одновременно пугало и завораживало меня. Теперь я различал на обширном зеленом пространстве отдельные объекты – покрытые ярко-зеленым мхом валуны, довольно высокие кусты и изрядных размеров диковинные жизнеформы, что странным образом двигались или вибрировали среди кустарника. Пение, исполнителей которого мне не терпелось увидеть, казалось, звучало громче там, где странные жизнеформы образовывали самые многочисленные группы и двигались наиболее энергично.

А потом, когда мой островок подплыл ближе и шум отдаленного водопада стал громче, я вдруг ясно увидел *источник* пения и в одно ужасное мгновение вспомнил все. О подобных вещах я не могу, не смею рассказывать, ибо там мне открылся страшный ответ на все мучавшие меня вопросы, и ответ этот свел бы вас с ума, как едва не свел меня... Теперь я понял, какого рода метаморфоза произошла со мной, а равно со многими другими, что прежде были людьми! Я прозрел бесконечный цикл будущего, из которого никогда не вырваться мне подобным... Я буду жить вечно, буду мыслить и чувствовать вечно, хотя душа моя отчаянно вызывает к богам о смерти и забвении... Я знаю все: за ревущим бурным потоком простирается страна Стетелос, где молодые люди бесконечно стары... Зеленый луг... Я перешлю восточку через ужасную бескрайнюю бездну...

[Далее неразборчиво.]

Ползучий хаос

Перевод Элизабет Беркли и Льюиса Теобальда-младшего

Об опиумных наслаждениях и муках написано много. Экстазы и кошмары де Квинси, *paradis artificiels* Бодлера, описанные в сочинениях, бережно сохраненных и мастерски переведенных, обрели бессмертие, и миру хорошо известно, сколь прекрасны, ужасны и таинственны запредельные области, куда переносится вдохновленный опиумом визионер. Но при всем обилии подобного рода свидетельств еще никто не осмелился объяснить *природу* иллюзорных видений, являющихся умственному взору, или указать *направление* неведомых, колдовски живописных путей, коими безудержно влечет одурманенного наркотиком человека. Де Квинси переносился в Азию, в изобильную страну туманных теней, чья чудовищная древность столь сильно поражает воображение, что «громадный исторический возраст народа и имени подавляет в человеке всякое ощущение молодости», но он не осмеливался уходить дальше. Люди же, отважившиеся на такое, редко возвращались обратно, а немногие вернувшиеся либо хранили молчание, либо впадали в полное безумие. Я принимал опиум всего лишь раз – во время страшной эпидемии, когда врачи всячески старались хотя бы притупить жестокие страдания пациентов, исцелить которых уже не могли. Доза оказалась слишком большой (мой врач находился в крайней стадии нервного и физического истощения), и я в своих грезах ушел очень далеко от реальности. В конечном счете я вернулся и зажил прежней жизнью, но по ночам меня одолевают странные воспоминания, и я с тех пор решительно пресекаю любые попытки докторов назначить мне опиум.

Я мучился совершенно невыносимой пульсирующей головной болью, когда мне дали наркотик. Будущее несколько не волновало меня, я единственно хотел обрести избавление от страданий – в лекарствах ли, в беспамятстве ли, в смерти ли. Я находился в полубредовом состоянии, и потому сейчас мне трудно точно установить момент погружения в наркотический транс, но думаю, средство начало действовать незадолго до того, как пульсация в голове перестала причинять боль. Как я сказал, доза оказалась чрезмерной, и, видимо, опиум вызвал у меня реакцию, далекую от нормальной. Преобладало странное ощущение свободного падения, никак не связанного с действием силы тяжести и не дающего представления о направлении движения, но одновременно ощущалось близкое присутствие великого множества неких незримых материальных образований, обладающих абсолютно другой природой, но имеющих какое-то отношение ко мне. Порой казалось, что это не я падаю, а вся вселенная или эоны времени стремительно проносятся мимо меня. Внезапно боль прекратилась, и я начал связывать пульсацию в голове скорее с внешней причиной, нежели с внутренней. Падение тоже прекратилось, сменившись ощущением временной передышки, которая может закончиться в любой момент, а когда я напряг слух, мне представилось, будто мерная пульсация в моем мозгу – это шум бескрайнего таинственного моря, чьи громадные зловещие буруны с ревом набегают на истерзанный пустынный берег после чудовищной силы шторма. Я открыл глаза.

Первые несколько мгновений все расплывалось перед моим взором, словно безнадежно расфокусированная проекция изображения, но постепенно я осознал, что нахожусь совсем один в странной, роскошно убранной комнате с многочисленными окнами, сквозь которые льется свет. Я не мог составить ясного представления о характере помещения, ибо мысли мои еще не пришли в порядок, но я разглядел разноцветные ковры и занавеси, искусной работы столы, стулья, оттоманки, диваны, изящные вазы и затейливые настенные орнаменты – все они производили впечатление экзотических, но одновременно смутно знакомых. Однако все увиденное недолго занимало мой ум. Медленно, но неотвратимо сознанием моим завладевал тошнотворный страх неизвестности, вытеснявший все прочие впечатления; страх тем более

сильный, что он не поддавался анализу и, казалось, имел отношение к некоей незаметно подступающей угрозе – не смерти, но безымянной, неведомой катастрофе, невыразимо более ужасной и отвратительной.

Вскоре я осознал, что непосредственным воплощением и возбудителем моего страха является беспрестанное мощное биение, отдающееся эхом в моем измученном мозгу. Оно, казалось, доносилось откуда-то снаружи, из-под здания, где я находился, и вызывало в воображении самые жуткие образы. Я чувствовал, что за убранными шелком стенами скрывается какая-то кошмарная картина или некий чудовищный объект, и боялся даже мельком глянуть в забранные решеткой стрельчатые окна по сторонам от меня. Заметив на окнах ставни, я закрыл их все, избегая смотреть наружу. Потом с помощью кремня и огнива, найденных на одном из столиков, я зажег множество свечей, установленных в затейливых канделябрах на стенах. Ощущение безопасности, созданное закрытыми ставнями и искусственным освещением, несколько успокоило мои нервы, но я никак не мог отрешиться от монотонного глухого грохота. Теперь, когда я немного успокоился, звук стал казаться мне столь же чарующим, сколь пугающим, и я почувствовал желание отыскать источник оно, невзирая на сильный страх, по-прежнему владевший мной. Раздвинув портьеры в стенном проеме, расположенном ближе всего к источнику шума, я увидел короткий, богато убранный гобеленами коридор, в конце которого находились резная дверь и большое эркерное окно. Меня безудержно повлекло к этому окну, хотя неопределенные опасения почти столь же настойчиво побуждали меня вернуться назад. По мере приближения к нему я начал различать в отдалении беспорядочно мятущиеся волны. Когда же я подошел вплотную к окну, представшая моему взору грандиозная картина потрясла меня до глубины души.

Ничего подобного я не видел никогда прежде, да и никто на свете не видел, разве только в горячечном бреде или в опиумных кошмарах. Здание стояло на узком мысе – во всяком случае, на участке суши, *теперь* представлявшем собой узкий мыс, – на высоте добрых трехсот футов над неистово бурлящей, кипящей водой. С одной и другой стороны от дома зияли обрывы, недавно образовавшиеся в результате оползня, а впереди чудовищные волны продолжали грозно накатывать одна за другой, пожирая сушу со зловещей решимостью. Примерно в миле от берега вздымались устрашающие валы высотой не менее пятидесяти футов, а над горизонтом, подобно мерзким стервятникам, нависали черные тучи гротескных очертаний. Темно-фиолетовые, почти черные волны хватались за податливую красную землю, точно алчные лапы фантастического существа. Невольно представлялось, будто некий беспощадный дух океана – возможно, подстрекаемый разгневанным небом – объявил всей земной тверди непримиримую войну.

Выйдя наконец из оцепенения, в кое меня ввергло сверхъестественное зрелище, я осознал, что мне угрожает реальная опасность. Пока я стоял, ошеломленно уставившись в окно, яростные волны поглотили уже не один фут берега и близился момент, когда здание, подмытое водой, рухнет в ужасную бушующую пучину. Я бросился на противоположную сторону дома, отыскал там выход и выскочил наружу, заперев за собой дверь диковинным ключом, что висел на стене рядом с ней. Теперь я получил возможность составить более полное представление о загадочной местности и сразу же заметил некую незримую границу, пролежавшую по грозному океану и небосводу. По одну и другую сторону от узкого мыса царили совершенно разные условия. Слева от меня, если стоять спиной к зданию, море мягко катило громадные зеленые волны, мирно набегавшие на берег под ярким солнцем. Что-то в виде и положении солнца на небе заставило меня содрогнуться, хотя тогда я не понимал, что именно, да и сейчас не понимаю. Справа от меня тоже простиралось море, но голубое, спокойное, лишь слегка подернутое зыбью, а небо над ним было темнее, и размытый берег имел скорее белесый оттенок, нежели красноватый.

Затем я принялся разглядывать сушу и обнаружил новый повод для удивления: растения здесь не походили ни на каких представителей флоры, виденных мной прежде или известных мне по книгам. Растительность имела тропический или по крайней мере субтропический характер, каковое заключение подкреплялось страшной жарой. Иные растения смутно напоминали флору моей родной страны, и мне подумалось, что подобные формы могли бы принять знакомые деревья и кустарники при радикальной перемене климата; но я определенно никогда не видел ничего похожего на гигантские пальмы, росшие повсюду вокруг. Дом, покинутый мной, был очень маленьким, не больше обычного коттеджа, но выстроен из мрамора, в причудливом эклектическом стиле, представляющем собой странное смешение восточных и западных архитектурных элементов. По углам здания стояли коринфские колонны, тогда как красная черепичная крыша была, похоже, позаимствована у китайской пагоды. От двери тянулась поразительной белизны песчаная дорожка шириной фута четыре, обсаженная величественными пальмами и неизвестными мне цветущими кустами. Она уклонялась к той стороне мыса, где море было голубым, а берег белесым. Движимый безотчетным страхом, я бросился по ней со всех ног, словно за мной гнался некий злобный дух ревущего океана. Дорожка полого поднималась, и вскоре я достиг вершины невысокого округлого холма. Оттуда я увидел как на ладони весь мыс с коттеджем, необозримое пространство черной воды за ним, зеленое море с одной стороны от него, голубое море с другой – и тяготеющее над всем этим проклятие, которое не имеет имени и не может быть названным. Я никогда больше не видел ничего подобного и часто задаюсь вопросом, что же это было... Бросив последний взгляд назад, я широким шагом двинулся дальше, исследуя пытливым взором открывшуюся передо мной панораму.

Дорожка, как я говорил, тянулась вдоль правого берега мыса и вела вглубь суши. Впереди слева я теперь видел величественную долину в тысячи и тысячи акров, сплошь покрытую колеблемой ветром тропической травой выше моего роста. На самой границе видимости я различил громадную пальму, которая завораживала меня и словно манила к себе. К тому времени изумление и облегчение, испытанное после бегства с опасного мыса, в значительной мере рассеяли мои страхи, но когда я остановился и устало сел посреди тропы, лениво погрузив руки в теплый золотисто-белый песок, меня вдруг охватило острое предчувствие новой опасности. К ужасу, который вызывал у меня дьявольский грохот океана, добавился ужас перед неизвестной угрозой, сокрытой в шуршащей высокой траве, и я принялся бессвязно кричать: «Тигр? Там тигр, да? Зверь? Там зверь, которого я боюсь?» В памяти моей всплыла какая-то древняя классическая история про тигров, некогда прочитанная мной, но я никак не мог вспомнить автора. Объятый страхом, я вспомнил наконец, что рассказ принадлежит перу Редьярда Киплинга, но мне не показалось нелепым, что я счел его древним писателем. Мне вдруг безумно захотелось перечитать том, содержащий этот рассказ, и я едва не пустился обратно к обреченному коттеджу, чтобы найти там книгу, но здравый смысл и притягательная сила пальмы удержали меня.

Не знаю, сумел бы я побороть искушение вернуться, если бы меня не влекло вперед колдовское очарование пальмы. Теперь желание поскорее добраться до нее взяло верх, и я свернул с тропы и пополз на четвереньках вниз по склону в долину, невзирая на страх перед густыми зарослями травы и змеями, что могли таиться там. Я решил до последнего сражаться за свою жизнь и рассудок, противостоя всем угрозам в море и на суше, хотя временами, когда к отдаленному, но все еще отчетливо слышному грохоту волн добавлялся жуткий шорох травы, поражение казалось мне неминуемым. Я часто останавливался и зажимал ладонями уши в поисках облегчения, но никак не мог полностью заглушить отвратительные звуки. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я наконец дотащился до привлекавшей меня пальмы и бессильно распростерся в ее тени.

Затем последовал ряд событий, ввергших меня сначала в безумный восторг, а затем в дикий ужас, – событий, которые я боюсь вспоминать и не смею даже пытаться истолко-

вать. Едва я заполз под сень пальмовых листьев, с ветвей прыгнуло малое дитя невиданной красоты. Пусть оборванное и запыленное, оно походило на прелестного фавненка или юного полубога и словно излучало сияние в густой тени дерева. Дитя улыбнулось и протянуло мне руку, но, прежде чем я успел встать и заговорить, сверху донеслось чарующее хоровое пение: чистые голоса, высокие и низкие, сливались в возвышенной, неземной гармонии. К тому времени солнце уже скрылось за горизонтом, и в сумерках я увидел лучистый ореол над головой ребенка. Потом дитя обратилось ко мне нежным серебристым голосом: «Это конец пути. Сквозь тьму спустились они со звезд. Теперь все кончено, и мы обретем блаженный покой в стране Телоз за Аринурийскими потоками». Пока ребенок говорил, я увидел сквозь пальмовые листья мягкое сияние, нисходящее с небес, и поднялся на ноги, чтобы поприветствовать двоих, которые – я не сомневался – являлись главными среди чудесных певцов. Они были не иначе как богом и богиней, ибо подобная красота не даруется смертным, и они взяли меня за руки и промолвили: «Пойдем, дитя, ты услышал голоса, и теперь все хорошо. В Телоз, за Млечным Путем и Аринурийскими потоками, лежат города из янтаря и халцедона. На их многогранных куполах блистают отражения диковинных, прекрасных созвездий. В Телоз под мостами слоновой кости текут реки жидкого золота, и по ним плывут прогулочные суда, направляясь в цветущий Кифарион Семи Солнц. А в Телоз и Кифарионе властвуют юность, красота и радость, и слышатся там лишь смех, пение да звуки лютни. Одни только боги обитают в Телоз, где текут золотые реки, но среди них пребудешь и ты».

Завороженно внимая сей речи, я вдруг осознал перемену, произошедшую в моем окружении. Пальма, совсем недавно накрывавшая тенью мое утомленное тело, теперь находилась подо мной слева. Я плыл по воздуху, сопровождаемый не только странным ребенком и двумя лучезарными созданиями, но также неуклонно умножающимся сонмом увенчанных виноградными лозами юношей и молодых дев, чьи тела источали слабое сияние, волосы развевались на ветру, а лица светились от радости. Мы медленно поднимались ввысь, словно несомые благоуханным легким ветром, который дул не с земли, но из скопления золотистых туманностей над нами, и дитя прошептало мне на ухо, что я должен смотреть только вверх, на потоки света, и ни в коем случае не оглядываться на планету, покинутую мной. Прекрасные юноши и девы теперь пели сладкозвучные хориямбы под лютневый аккомпанемент, и в душе моей царили глубокий покой и счастье, каких я не мог и вообразить доселе. Но внезапно в сознание мое вторгся чужеродный звук, изменивший мою участь и потрясший меня до основания. Сквозь сладостное хоровое пение и чарующую лютневую музыку, словно вступая в издевательскую, дьявольскую гармонию с ними, пробился отвратительный размеренный грохот ужасного океана, донесшийся из бездны внизу. И когда рев зловещих черных валов достиг моего слуха, я забыл о предостережении ребенка и посмотрел вниз, на обреченную планету, откуда, мне казалось, я благополучно бежал.

Сквозь потоки космического эфира я увидел проклятую Землю, совершавшую свое бесконечное вращение, и там разъяренные бурные моря пожирали дикие пустынные берега и швыряли пену на шаткие полуразрушенные башни покинутых городов. Озаренные призрачным лунным светом, взору моему явились картины, которые я не в силах описать и не в состоянии забыть: глинистые пустыни трупного цвета – страшные свидетельства гибели и запустения на некогда густонаселенных равнинах моей отчизны – и вспененные океанские водовороты там, где некогда высились величественные храмы моих предков. На Северном полюсе, окутанное пеленой ядовитых испарений, покрытое омерзительной растительностью, простиралось болото, злобно шипящее под натиском могучих волн, которые, гневно клокоча и завихряясь водоворотами, поднимались из бурлящей пучины. Потом оглушительный грохот раскатился в ночи, и через самую обширную пустыню протянулась дымящаяся расселина. Черный океан продолжал реветь и пениться, поглощая пустыню по обеим сторонам от расселины, что становилась все шире и шире.

Теперь на Земле не осталось ни единого клочка суши, помимо этой пустыни, и яростно ревуший океан продолжал неумолимо наступать на нее. Внезапно мне показалось, будто даже он испугался чего-то, испугался темных богов земных недр, превосходящих могуществом злого бога вод. Но так или иначе, он уже не мог повернуть вспять, и пустыня слишком сильно пострадала от кошмарных волн, чтобы остановить их наступление. Посему океан поглотил последний клочок суши и стал изливаться в дымящуюся расселину, таким образом теряя все свои завоевания. Вода отступала с затопленных земель, вновь являя взору картины разрухи и смерти, обнажая древнее океанское ложе и вместе с ним мрачные тайны незапамятной эпохи, когда Время только начиналось и боги еще не родились. Над поверхностью воды медленно вырастали облепленные водорослями знакомые шпили. Бледные лилии лунного света расцвели на руинах Лондона, и Париж восстал из водной могилы, дабы освятиться звездной пылью. Затем показались могучие башни и громадные здания, тоже облепленные водорослями, но совершенно незнакомые – наводящие ужас сооружения, в бесконечно далеком прошлом возведенные там, где на памяти человечества никогда не было суши.

Размеренный грохот океанских валов сменился теперь потусторонним ревом и шипением вод, стремительно низвергавшихся в расселину. Валивший из нее дым постепенно превратился в пар, который неуклонно сгущался, заволакивая все почти непроглядной пеленой. Пар этот больно обжег мне лицо и руки, и когда я поднял глаза, чтобы посмотреть, как он действовал на моих спутников, то обнаружил, что все они исчезли. Внезапно все кончилось, и больше я не помню ничего вплоть до момента, когда очнулся на своем болезном ложе, чувствуя облегчение от недуга. Как только пелена пара из бездонной расселины окончательно скрыла от взора всю поверхность планеты, земная твердь пронзительно возопила в мучительных агонических конвульсиях, сотрясших трепещущий эфир. Все кончилось с одной ослепительной вспышкой, с одним оглушительным взрывом, с одним чудовищной силы выбросом всеуничтожающего огня и дыма, которые застили бледную луну, стремительно улетающую в космическую пустоту.

А когда дым рассеялся и я попытался найти взглядом Землю, я увидел на фоне холодных насмешливых звезд лишь угасающее Солнце да скорбные бледные планеты, тщетно ищущие свою сестру.

Последний опыт (с Адольфом де Кастро)

I

Немногие знают подлинную подоплеку истории Кларендона или хотя бы догадываются о существовании некой подоплеки, до которой не удалось докопаться газетчикам. Означенная история стала настоящей сенсацией в Сан-Франциско незадолго до Великого пожара – как вследствие массовой паники и смертельной угрозы, с ней сопряженных, так и по причине непосредственной причастности к ней губернатора штата. Губернатор Далтон, надобно помнить, был лучшим другом Кларендона и после женился на его сестре. Ни сам Далтон, ни миссис Далтон никогда публично не обсуждали сие в высшей степени неприятное дело, но каким-то образом подробности случившегося стали известны узкому кругу лиц. Когда бы не это обстоятельство и не то соображение, что по прошествии многих лет участники событий превратились в фигуры почти абстрактные и безликие, любой десять раз подумал бы, прежде чем вникать в тайны, столь тщательно оберегавшиеся в свое время.

Назначение доктора Альфреда Кларендона на должность главного врача тюрьмы Сан-Квентин в 189... году было встречено в Калифорнии с огромным энтузиазмом. Сан-Франциско наконец удостоился чести оказать гостеприимство одному из величайших биологов и врачей современности, и следовало ожидать, что ведущие специалисты со всего мира съедутся в город, дабы изучать методы доктора Кларендона, извлекать пользу из его советов и научных исследований, учиться на его опыте справляться с собственными проблемами местного характера. Таким образом, Калифорния могла чуть ли не в одночасье стать центром медицинской науки с международным влиянием и мировой репутацией.

В своем стремлении подчеркнуть исключительную важность события губернатор Далтон позаботился о том, чтобы в прессе появились подробные, выдержанные в восторженных тонах сообщения о вновь назначенном должностном лице. Фотографии доктора Кларендона и его нового дома близ старого Козьего холма, очерки о его карьере и отмеченных многочисленными наградами заслугах, популярные статьи о его выдающихся научных открытиях печатались во всех главных калифорнийских газетах, и вскоре общественность исполнилась своего рода отраженной гордостью за человека, чьи исследования пиемии в Индии, чумы в Китае и аналогичных недугов во всех уголках мира в ближайшем будущем обогатят медицину поистине революционным препаратом – универсальным антитоксином, который будет уничтожать возбудителя лихорадки в зародыше и таким образом обеспечит полную и окончательную победу над страшной болезнью во всех ее разновидностях.

Данному назначению предшествовала долгая и довольно романтическая история юношеской дружбы, многолетней разлуки и драматически возобновленного знакомства. Десятью годами ранее, в Нью-Йорке, Джеймса Далтона и семейство Кларендон связывала дружба – даже больше, чем просто дружба, ибо Далтон с юных лет любил единственную сестру доктора, Джорджину, а сам доктор являлся его ближайшим товарищем и протееже в школьные и университетские годы. Отец Альфреда и Джорджины, уолл-стритский пират старой жестокой закалки, хорошо знал отца Далтона – настолько хорошо, что в конце концов обобрал его в ходе одной памятной схватки на фондовой бирже. Далтон-старший, не надеясь поправить финансы и желая обеспечить своего обожаемого единственного сына за счет страховки, незамедлительно пустил себе пулю в лоб, но Джеймс не попытался отомстить. Он считал, что таковы правила игры, и не желал зла отцу девушки, на которой собирался жениться, и многообещаю-

щему молодому ученому, чьим поклонником и покровителем он являлся на протяжении всех лет дружбы и совместной учебы. Джеймс занялся юриспруденцией, несколько упрочил свое положение и в должный срок попросил у старого Кларендона руки Джорджины.

Старый Кларендон ответил категорическим и весьма громогласным отказом, резко заявив, что нищий выскочка-юрист не годится ему в зятя. Затем произошла весьма бурная сцена, и Джеймс, высказав наконец морщинистому флибустьеру все, что давно следовало высказать, в великом гневе покинул дом и город, а уже через месяц начал в Калифорнии карьеру, которая сопровождалась многочисленными схватками с различными политическими кликами и отдельными политиками и в конечном счете привела его к губернаторскому посту. Прощание Джеймса с Альфредом и Джорджиной было кратким, и он так и не узнал о последствиях сцены, произошедшей в библиотеке Кларендонов. Известие о смерти старого Кларендона не застало молодого человека в городе – он уехал всего днем раньше, каковое обстоятельство изменило весь ход его жизни. Последующие десять лет он не писал Джорджине, зная о ее преданности отцу и терпеливо ожидая времени, когда собственные богатство и общественное положение устранят все препятствия к браку. Ни разу не написал он и Альфреду, чье спокойно-безразличное отношение к восторженному обожанию товарища всегда наводило на мысль о самодостаточности гения, ясно сознающего свое предназначение. Надежно связанный узами постоянства, необычного даже для того времени, Джеймс работал и продвигался вверх по общественной лестнице с мыслями только о будущем, оставаясь холостяком и интуитивно веря, что Джорджина тоже ждет.

Далтон не обманулся насчет своей возлюбленной. Джорджина, вероятно мучительно гадавшая о причинах его молчания, так и не пережила ни одного романтического увлечения, кроме как в мечтах и грезах, и с течением лет полностью отдалась новым обязанностям, появившимся у нее с восхождением брата к величию. Альфред в полной мере оправдал ожидания, возлагавшиеся на него в юности, и поднимался по ступеням науки со скоростью и упорством, ошеломлявшими окружающих. Худой и аскетичный, с остроконечной каштановой бородкой и в пенсне со стальной оправой, доктор Альфред Кларендон к двадцати пяти годам стал авторитетным специалистом в своей области, а к тридцати – ученым с мировым именем. Пренебрегая житейскими делами с безразличием истинного гения, он почти во всем зависел от заботы и опеки своей сестры и в глубине души радовался, что память о Джеймсе удерживает ее от других, более реальных связей.

Джорджина вела дела и домашнее хозяйство великого бактериолога и гордилась его успехами на пути к полной победе над лихорадкой. Она терпеливо сносила причуды брата, остужала его периодические вспышки фанатизма и улаживала его ссоры с товарищами, временами случавшиеся вследствие неприкрытого презрения Альфреда ко всему менее значительному, чем безраздельная преданность научной истине и научному прогрессу. Безусловно, Кларендон порой вызывал раздражение у обычных людей, ибо он неустанно умалнял служение отдельному человеку в противовес служению всему человечеству и сурово порицал ученых мужей, сочетавших занятия чистой наукой с семейной жизнью или посторонними интересами. Недруги называли его несносным занудой, но почитатели, ввергнутые в трепет исступлением, с каким он отдавался работе, почти стыдились, что имеют какие-либо цели и устремления вне божественной сферы чистого знания.

Доктор много путешествовал, и Джорджина обычно сопровождала его. Три раза, однако, Кларендон совершал долгие одиночные поездки в далекие чужеземные страны, чтобы исследовать экзотические типы лихорадки и полумифические разновидности чумы, ибо он знал, что именно в неизведанных областях таинственной древней Азии берет начало большинство болезней на планете. Во всех трех случаях он привозил из экспедиций диковинные сувениры, усугублявшие экстравагантности его дома, не последней из которых был излишне многочисленный штат слуг-тибетцев, подобранных им где-то в У-Цанге во время эпидемии, оставшейся

неизвестной цивилизованному миру, но позволившей Кларендону открыть и выделить бактерию – возбудителя черной лихорадки. Эти мужчины, превосходившие ростом большинство тибетцев и явно принадлежавшие к некоему малоизученному племени, комплекцией напоминали обтянутые кожей скелеты, отчего любой невольно задавался вопросом, не морит ли доктор их голодом в попытке создать живые подобию анатомических муляжей, памятных ему по университетским годам. Облаченные по воле Кларендона в шелковые черные балахоны, какие носят жрецы бонпо, они выглядели в высшей степени гротескно, а скупость движений и сумрачная молчаливость усугубляли фантастичность их облика и вызывали у Джорджины жутковатое ощущение, будто она случайно забрела в мир, описанный на страницах «Ватека» или «Сказок тысячи и одной ночи».

Но самым странным из всех был доверенный слуга и ассистент по имени Сурама, которого Кларендон привез из Северной Африки, где провел долгое время, изучая необычные случаи перемежающейся лихорадки среди населяющих Сахару загадочных туарегов, о чьем происхождении от древнего народа исчезнувшей Атлантиды давно толкуют в археологических кругах. Сурама, человек огромного ума и, похоже, неисчерпаемой эрудиции, был таким же болезненно худым, как тибетские слуги; темная пергаментная кожа столь туго обтягивала его лысину и безволосое лицо, что все до единой линии черепа выступали с чрезвычайной резкостью. Впечатление «мертвой головы» усиливали тускло горящие черные глаза, посаженные так глубоко, что сторонний наблюдатель видел лишь пустые темные глазницы. При всей бесстрастности черт Сурама, в отличие от любого примерного слуги, нимало не старался скрывать свои эмоции. Напротив, в нем постоянно чувствовались ирония и глумливая веселость, которые изредка выражались низким гортанным смешком – подобный звук могла бы издать гигантская черепаха, только что разорвавшая на куски мелкого пушистого зверька и теперь неторопливо уползающая в море. Чертами лица он походил на европеоида, но определить его происхождение более точно не представлялось возможным. Кое-кто из друзей Кларендона видел в нем сходство с индусом высокой касты, несмотря на отсутствие у него соответствующего акцента, а многие согласились с Джорджиной, сразу невзлюбившей Сураму, когда она высказала мнение, что мумия фараона, чудесным образом воскрешенная, составила бы идеальную пару этому сардоническому скелету.

Далтон, всецело занятый тяжелыми политическими баталиями и в силу исторически сложившейся автономности старого Запада не осведомленный о делах восточных штатов, не следил за головокружительным взлетом своего бывшего товарища, а Кларендон тем паче ничего не слыхал о человеке, столь далеком от мира науки, как губернатор. Обладая независимым и даже избыточным состоянием, Кларендоны многие годы продолжали жить в своем старом манхэттенском особняке на восточном участке 19-й улицы, и населявшие дом призраки их предков наверняка смотрели косо на эксцентричных тибетцев и Сураму. Потом доктор пожелал переместить базу своих медицинских исследований, что привело к крутым переменам: Кларендоны перебрались на противоположное побережье континента и стали вести уединенную жизнь в Сан-Франциско, купив мрачную старую усадьбу Баннистер близ Козьего холма на самом берегу залива и разместившись со всей своей странной челядью в беспорядочно выстроенном, увенчанном мансардной кровлей особняке – образце средневикторианского стиля, а также дурного вкуса и показной роскоши «золотолихорадочной» эпохи, который стоял посреди обнесенного высокими стенами земельного участка вдали от городского центра.

Хотя новые условия работы устраивали доктора Кларендона больше нью-йоркских, он по-прежнему видел досадную помеху на своем пути к цели в отсутствии всякой возможности применить и проверить свои теории на практике. Будучи человеком не от мира сего, он даже и не помышлял использовать свою репутацию для получения общественной должности, хотя все яснее и яснее сознавал, что только пост главного врача какого-нибудь государственного или благотворительного учреждения – тюрьмы, богадельни или госпиталя – обес-

печит ему достаточно широкое поле деятельности, чтобы успешно завершить исследования и своими открытиями принести максимальную пользу человечеству и науке в целом.

Однажды после полудня доктор совершенно случайно столкнулся на Маркет-стрит с Джеймсом Далтоном, выходящим из отеля «Роял». Он был с Джорджиной, и моментальное взаимное узнавание усилило драматический эффект воссоединения. Полная неосведомленность об успехах друг друга потребовала от обоих долгих объяснений и рассказов о своих делах, и Кларендон премного обрадовался, узнав, что в друзьях у него числится столь высокопоставленный чиновник. Далтон и Джорджина, многожды обменявшись взглядами, прониклись друг к другу чувством гораздо более сильным, чем отзвук давней юношеской нежности. Прямо тогда и там бывшая дружба возобновилась, вследствие чего они трое стали часто видаться и вести все более и более доверительные беседы.

Джеймс Далтон узнал о насущном желании своего бывшего протеже получить должность и, верный роли покровителя, принятой еще в школьные годы, постарался изыскать способ предоставить «маленькому Альфу» необходимый пост и свободу действий. Разумеется, он обладал широкими правами назначения, но постоянные нападки и назойливый контроль со стороны законодательных органов вынуждали губернатора соблюдать крайнюю осмотрительность при осуществлении своих полномочий. Однако всего через три месяца после неожиданного воссоединения освободилась должность руководителя одного из главных медицинских учреждений в штате. Тщательно взвесив все обстоятельства и рассудив, что научные достижения и репутация друга заслуживают самых высоких наград, губернатор наконец почувствовал себя вправе действовать. И вот, после соблюдения немногочисленных формальностей, 8 ноября 189... года доктор Альфред Шайлер Кларендон стал главным врачом калифорнийской тюрьмы Сан-Квентин.

II

Не прошло и месяца, как надежды почитателей доктора Кларендона в полной мере сбылись. Внедрение принципиально новых методик в установившуюся практику тюремной медицины дало результаты, превзошедшие самые смелые ожидания, и, несмотря на понятную зависть, подчиненные были вынуждены признать чудесные успехи, достигнутые под руководством этого великого ученого. Потом настал момент, когда простое признание заслуг вполне могло перерасти в искреннюю благодарность при счастливом совпадении времени, места и действующих лиц, ибо однажды утром доктор Джонс с мрачным видом явился к своему новому начальнику и сообщил об обнаруженном им случае заболевания, по всем симптомам сходного с той самой черной лихорадкой, возбудителя которой открыл и выделил Кларендон.

Доктор Кларендон не выказал ни малейшего удивления и продолжал писать.

– Знаю, – спокойно промолвил он. – Я заметил этот случай еще вчера. Рад, что вы правильно его идентифицировали. Положите больного в отдельную палату, хотя я не считаю черную лихорадку заразной.

Доктор Джонс, имевший свое мнение о заразности заболевания, обрадовался такой предосторожности и поспешил выполнить приказ. Когда он вернулся, Кларендон встал и направился к двери, объявив о своем намерении заняться пациентом в одиночку. Обманутый в своих надеждах изучить методы и приемы великого медика, младший врач смотрел вслед своему начальнику, стремительно шагавшему к отведенной больному отдельной палате. Впервые со времени, когда первоначальная зависть сменилась восхищением, он испытывал столь сильное недовольство новыми порядками.

Торопливо войдя в палату, Кларендон бросил быстрый взгляд на кровать и отступил на шаг назад, чтобы проверить, как далеко любопытство завело доктора Джонса. Убедившись, что коридор по-прежнему пуст, он закрыл дверь и повернулся к страдальцу. Заключенный –

мужчина крайне отвратительной наружности – явно претерпевал жесточайшие муки. Искажённое жуткой гримасой лицо и скрюченная поза свидетельствовали о немом отчаянии человека, пораженного смертельным недугом. Кларендон внимательно осмотрел больного, приподнял крепко зажмуренные веки, проверил пульс и температуру, а под конец растворил в воде таблетку и влил лекарство в рот больному. Вскоре приступ пошел на убыль – сведенные судорогой мышцы расслабились, лицо приобрело нормальное выражение, дыхание стало ровнее. Затем доктор легко помассировал пациенту уши, и тот открыл глаза. Они были живыми и двигались из стороны в сторону, но в них напрочь отсутствовал чистый огонь, который мы издавна считаем за образ души. При виде принесенного лекарством облегчения Кларендон улыбнулся, чувствуя за собой силу всемогущей науки. Он уже много раз сталкивался с подобными случаями и в два счета вырвал жертву из лап смерти. Еще час – и пациент умер бы, а ведь Джонс наблюдал симптомы на протяжении многих дней, прежде чем поставил диагноз, а когда наконец диагностировал недуг, не знал, что делать.

Однако победа человека над болезнью не бывает абсолютной. Кларендон заверил исполненных опасений сиделок, что черная лихорадка не заразна, и распорядился вымыть больного, обтереть смоченной в спирте губкой и уложить в постель. Но на следующее утро ему доложили, что пациент скончался. Мужчина умер после полуночи – в жесточайших муках и с такими душераздирающими воплями, с такими жуткими гримасами, что сиделки едва не впали в панику. Доктор воспринял известие с обычным спокойствием, сколь бы сильно оно ни задело его профессиональное самолюбие, и приказал при погребении засыпать труп негашеной известью. Потом, философски пожав плечами, он отправился на ежедневный обход тюрьмы.

Через два дня история повторилась. На сей раз заболели сразу трое заключенных, и уже представлялось совершенно очевидным, что начинается эпидемия черной лихорадки. Кларендон, столь твердо державшийся своего мнения о незаразности недуга, явно терял авторитет и оказался в затруднительном положении, когда сиделки решительно отказались ухаживать за больными. Это были не преданные делу добровольцы, готовые пожертвовать собой ради науки и человечества, но те же заключенные, которые работали в госпитале единственно из-за привилегий, не достижимых иным способом, и когда цена стала слишком высокой, они предпочли отказаться от всех привилегий.

Однако доктор по-прежнему оставался хозяином положения. Посоветовавшись с начальником тюрьмы и отправив срочное сообщение своему другу губернатору, он позаботился о том, чтобы за опасную работу сиделок заключенным пообещали выплатить денежное вознаграждение и сократить тюремные сроки, и таким образом сумел набрать более чем достаточное количество добровольцев. Теперь он был готов действовать, и ничто не могло поколебать его самообладание и решимость. На все сообщения о новых случаях заболевания он реагировал лишь коротким кивком и, казалось, не знал усталости, когда совершал обходы огромной каменной обители скорби и зла, осматривая пациента за пациентом. В течение следующей недели заболели свыше сорока человек, и пришлось вызывать сиделок из города. В то время Кларендон крайне редко уходил домой, спал на раскладной койке в конторе начальника тюрьмы и с обычным самозабвением изо дня в день отдавался служению медицине и человечеству.

Потом первые глухие раскаты возвестили о приближении грозы, которая в скором времени разразилась над Сан-Франциско. Сведения об эпидемии просочились наружу, и угроза черной лихорадки нависла над городом, словно туман с залива. Репортеры, крепко усвоившие принцип «главное – сенсация», дали волю своему воображению и возликовали, когда наконец обнаружили в мексиканском квартале случай заболевания, которое местный врач (вероятно, заинтересованный больше в деньгах, нежели в истине или общественном спокойствии) объявил черной лихорадкой.

Это стало последней каплей. Ошеломленные мыслью о смерти, подкравшейся к ним столь близко, жители Сан-Франциско обезумели от страха, и начался исторический исход,

новости о котором полетели по перегруженным телеграфным проводам во все уголки страны. Паромы и гребные шлюпки, экскурсионные пароходы и катера, поезда и фуникулеры, велосипеды и экипажи, грузовые фургоны и телеги – все транспортные средства были безотлагательно задействованы для панического бегства. Население Сосалито и Тамалпаиса, расположенных между Сан-Франциско и Сан-Квентином, тоже спешно покидало свои дома, а цены на жилье в Окленде, Беркли и Аламеде взмыли до небес. В южном направлении, вдоль запруженных транспортом дорог от Миллбрэ до Сан-Хосе, выросли палаточные городки и временные поселения. Многие искали убежища у друзей в Сакраменто, а до смерти напуганные люди, в силу разных причин вынужденные остаться дома, с трудом обеспечивали лишь самые насущные нужды почти вымершего города.

Торговая жизнь в Сан-Франциско быстро заглохла, если не считать коммерческой деятельности врачей-шарлатанов, выгодно сбывавших «верные средства» и «профилактические препараты» против черной лихорадки. На первых порах в барах предлагались «лекарственные напитки», но вскоре стало ясно, что население предпочитает быть одураченным мошенниками, более похожими на профессиональных медиков. Прохожие на непривычно тихих улицах пристально вглядывались друг другу в лица, пытаясь распознать симптомы чумы, а лавочники все чаще отказывались пускать на порог своих постоянных покупателей, поскольку в каждом из них подозревали источник заразы. Судебно-юридическая машина начала распадаться, ибо адвокаты и служащие окружного суда один за другим поддавались побуждению бежать. Даже врачи покидали город в больших количествах, многие из них ссылались на необходимость отдохнуть среди гор и озер в северной части штата. Школы и колледжи, театры и кафе, рестораны и бары продолжали закрываться, и уже всего через неделю Сан-Франциско представлял собой запустелый полупарализованный город, где системы энерго- и водоснабжения работали едва ли в половину нормальной мощности, малочисленные газеты выходили с перебоями, а жалкую видимость регулярного транспортного сообщения создавали лишь вагончики конки да канатной дороги.

Сан-Франциско находился в состоянии крайнего упадка. Такое положение дел не могло продолжаться долго, ибо род человеческий еще не полностью утратил мужество и здравомыслие, и в конце концов стало совершенно очевидно, что за пределами Сан-Квентина не началось никакой эпидемии черной лихорадки, хотя в антисанитарных палаточных поселениях произошла вспышка брюшного тифа с несколькими крайне тяжелыми случаями. Общественные лидеры и редакторы газет посоветовались и стали действовать, призвав на помощь тех самых репортеров, чья деятельность изрядно поспособствовала возбуждению паники в городе, но теперь направив их погоню за сенсациями в более конструктивное русло. В прессе появились передовые статьи и вымышленные интервью, в которых говорилось, что доктор Кларендон полностью контролирует эпидемию и что распространение болезни за пределами тюрьмы абсолютно исключено. Многократное повторение и распространение подобной информации медленно, но верно делали свое дело, и постепенно тоненький ручеек горожан, потянувшихся обратно, превратился в мощный поток. Одним из первых обнадеживающих признаков стало начало язвительной газетной дискуссии, участники которой пытались возложить ответственность за панику на различных лиц, высказывая каждый свое мнение. Вернувшиеся врачи, чья зависть окрепла благодаря своевременному отдыху, принялись нападать на Кларендона, заверяя общественность, что не хуже его сумели бы обуздать эпидемию, и упрекая доктора в том, что он не сделал большего для предотвращения вспышки заболевания в Сан-Квентине.

Кларендон, заявляли они, допустил гораздо больше смертных случаев, чем должно было быть. Даже самый неопытный медик знает, как пресечь распространение лихорадочной инфекции, и если прославленный ученый не принял нужных мер, значит он предпочел из научного интереса исследовать последнюю стадию болезни, нежели назначать правильное лечение и спасать жертвы. Подобные методы, намекали они, может, и пригодны применительно

к осужденным убийцам в тюрьме, но совершенно недопустимы в Сан-Франциско, где жизнь по-прежнему священна и неприкосновенна. Они продолжали в таком духе, и газеты охотно публиковали всю их писанину, поскольку бурная полемика, к которой, несомненно, вскоре должен был присоединиться и сам доктор Кларендон, способствовала подавлению тревоги и восстановлению спокойствия в обществе.

Но Кларендон не отвечал на выпады. Он лишь улыбался, а его единственный ассистент Сурама частенько позволял себе утробные черепашии смешки. Доктор стал проводить больше времени дома, и потому репортеры, прежде осаждавшие контору начальника тюрьмы, теперь постоянно толпились у ворот в высокой стене, возведенной Кларендоном вокруг своего особняка. Однако они и здесь ничего не добились, поскольку Сурама стоял непреодолимой преградой между доктором и внешним миром – даже когда репортеры проникли на территорию усадьбы. Газетчики, получавшие доступ в передний холл, мельком видели диковинное окружение Кларендона и в меру своих способностей живописали Сураму и скелетообразных тибетцев. Разумеется, в каждой следующей статье содержались чудовищные преувеличения, и в конечном счете вся эта реклама послужила во вред великому врачу. Простому человеку свойственно отвращение ко всему необычному, и сотни людей, способных простить бессердечие или некомпетентность, с готовностью осудили извращенный вкус, о котором свидетельствовали восемь азиатов в черных балахонах и жутковато хихикающий слуга.

В начале января особо настырный молодой репортер «Обсервера» забрался на восьмифутовую стену в тыльной части усадьбы, откуда были видны разнообразные надворные постройки, неразличимые с главной аллеи из-за густых деревьев. С профессиональной наблюдательностью он сразу отметил все: крытую аллею из вьющихся розовых кустов, птичьи вольеры, клетки с самыми разными млекопитающими, от обезьян до морских свинок, прочное деревянное здание клиники с зарешеченными окнами в северо-западном углу двора – и быстро исследовал пытливым взором всю тысячу квадратных футов закрытой для стороннего наблюдателя территории. В голове у него уже зрела грандиозная статья, и он благополучно ушел бы восвояси, если бы не лай огромного сенбернара Дика, любимца Джорджины. Сурама, мгновенно отреагировавший на сей сигнал, схватил парня за шиворот прежде, чем тот успел выразить протест, и поволок к передним воротам, встряхивая на ходу, как терьер крысу.

Сбивчивые объяснения и нервные требования позвать доктора Кларендона не возымели действия. Сурама лишь посмеивался и тащил свою жертву дальше. Внезапно ушлого борзописца охватил настоящий страх, и он страстно возжелал, чтобы это фантазмагорическое существо заговорило – хотя бы для того, чтобы доказать свою принадлежность к роду человеческому, обитающему на этой планете. На него накатила дурнота, и он старался не смотреть в глаза, таившиеся в черных провалах глазниц. Вскоре репортер услышал скрип открываемых ворот и почувствовал, как пролетает сквозь них, приведенный в движение сильным толчком в спину, а в следующий миг он вернулся к действительности, приземлившись в слякотную канаву, по приказу доктора вырытую вдоль всей стены. Когда массивные створы с грохотом захлопнулись, страх сменился яростью, и молодой человек, с ног до головы в грязи, встал и погрозил кулаком неприступным вратам. Уже двинувшись прочь, он различил позади слабый скрежет, а потом спиной почувствовал взгляд бездонных глаз Сурамы, прильнувшего к маленькому смотровому окошку в воротах, и услышал эхо утробного, леденящего кровь смешка.

Сей незадачливый репортер посчитал (возможно, справедливо), что с ним обошлись грубее, чем он заслуживал, и решил отомстить обитателям особняка. Он подготовил фиктивное интервью с доктором Кларендоном, якобы проходившее в здании клиники, и не преминул живописать в нем жестокие муки лихорадочных больных, коих его воображение разместило на выстроенных в ряд койках. Завершающим штрихом стало описание особо жалостного страдальца, который, хрипя и задыхаясь, просил пить, тогда как доктор держал стакан со сверкающей водой за пределами его досягаемости, пытаясь выяснить, каким образом муки жажды вли-

яют на течение заболевания. За этим измышлением следовали пространные двусмысленные комментарии, внешне весьма почтительные и потому вдвойне ядовитые. Доктор Кларендон, говорилось в статье, безусловно, является величайшим и самым целеустремленным ученым в мире; но науку не интересует благополучие отдельного человека, и никто не пожелает, чтобы его тяжелый недуг продлевали и усугубляли всего лишь ради установления некой абстрактной истины. Жизнь слишком коротка для этого.

В целом статья получилась чертовски убедительной и повергла в ужас девять читателей из десяти, настроив их против доктора Кларендона и его предполагаемых методов. Другие газеты не замедлили последовать примеру «Обзервера» и развить основную тему скандальной статьи, взяв последнюю за образец и напечатав множество фальшивых интервью, полных самых диких клеветнических измышлений. Однако ни в одном случае доктор не соизволил дать опровержение. Он не считал нужным тратить время на дураков и лжецов и совершенно не нуждался в уважении бездумной толпы, которую презирал. Когда Джеймс Далтон телеграфировал свое сожаление и предложил помощь, Кларендон ответил коротко и сухо, почти грубо: он-де пропускает мимо ушей лай брехливых псов и не собирается надевать на них намордники. Да и не стал бы он никого благодарить за попытки разобраться с делом, совершенно недостойным внимания. Храня презрительное молчание, доктор продолжал с невозмутимым спокойствием выполнять свои обязанности.

Но из искры, высеченной молодым репортером, разгорелся пожар. Сан-Франциско снова обезумел, причем на сей раз не только от страха, но и от ярости. Люди начисто утратили способность к здравому суждению, и, хотя второго исхода не произошло, в городе воцарились разнузданность и безрассудство, порожденные отчаянием, каковая ситуация невольно заставляла вспомнить средневековые «пиры во время чумы». В сердцах бушевала лютая ненависть к человеку, который выявил болезнь и изо всех сил старался обуздать эпидемию, и бездумная толпа живо забыла о его великих заслугах перед наукой, упорно раздувая пламя негодования. Люди в слепоте своей, казалось, ненавидели скорее лично Кларендона, нежели лихорадку, что пришла в овеваемый целительными морскими ветрами и обычно здоровый город.

Потом молодой репортер, упиваясь разоженным им нероновским пожаром, добавил к общей картине завершающий мастерский штрих. Памятуя о своих унижениях, претерпленных от скелетообразного ассистента, он написал блестящую статью о доме и окружении доктора Кларендона, с особым усердием обрисовав Сураму, который одним своим видом, заявлял он, способен напугать здорового человека до смертельной лихорадки. Он постарался изобразить вечно хихикающего костлявца существом одновременно смехотворным и ужасным и, пожалуй, больше преуспел в последнем своем намерении, поскольку при одном воспоминании о коротком знакомстве с этим жутким типом в душе у него всякий раз поднималась волна страха. Он собрал все слухи о нем, развил предположение о дьявольской природе его предполагаемой учености и туманно намекнул, что доктор Кларендон нашел Сураму в некоем далеко не благочестивом племени таинственной древней Африки.

Джорджина, внимательно читавшая все газеты, была удручена и глубоко уязвлена нападениями на брата, но Джеймс Далтон, часто бывавший в доме Кларендонов, всячески старался ее утешить. В этом своем стремлении он был искренен и пылок, поскольку хотел не только успокоить любимую женщину, но и отчасти выразить уважение, которое всегда питал к устремленному в неведомые выси гению – ближайшему другу своей юности. Он говорил Джорджине, что истинное величие не может избежать ядовитых стрел зависти, и приводил длинный скорбный перечень блестящих умов, попранных пятою черни. Все эти нападки, указывал он, служат наивернейшим доказательством исключительного таланта Альфреда.

– Но они все равно задевают меня за живое, – отвечала она, – и тем сильнее, что я знаю, как тяжело переживает из-за них Ал, несмотря на все свое показное безразличие.

Далтон поцеловал ей руку с галантностью, тогда еще не вышедшей из моды в светских кругах.

– А я переживаю в тысячу раз тяжелее, зная о ваших с Альфом переживаниях. Но ничего, Джорджи, вместе мы выстоим и преодолеем все трудности.

Со временем Джорджина все больше и больше полагалась на поддержку этого волевого мужчины, который был ее давним и верным поклонником, и все чаще делилась с ним своими страхами. Нападки прессы и эпидемия – это было еще не все. Джорджине многое не нравилось в домашнем окружении. Сурама, одинаково жестокий к людям и животным, вызывал у нее неопишное отвращение, и она чувствовала в нем некую смутную, не поддающуюся определению угрозу для Альфреда. Тибетцев она тоже недолюбливала и находила чрезвычайно странным тот факт, что Сурама свободно общается с ними на их наречии. Альфред не желал рассказывать о происхождении и роде занятий Сурамы, но однажды крайне неохотно объяснил, что он гораздо старше, чем вообще можно представить, и что он обладает сокровенными знаниями и жизненным опытом, которые делают из него поистине бесценного коллегу для любого ученого, исследующего великие тайны Природы.

Обеспокоенный тревогой Джорджины, Далтон стал бывать в доме Кларендонов еще чаще, хотя и видел, что его визиты крайне не нравятся Сураме. Костлявый ассистент приобрел неприятную привычку, встречая гостя, вперять в него странный взгляд своих призрачных глазниц и часто, когда закрывал за ним ворота, выпускал жутковатые смешки, вгонявшие в дрожь. Между тем доктор Кларендон, казалось, не замечал ничего, всецело поглощенный своей работой в Сан-Квентине, куда он каждый день отправлялся на катере в сопровождении одного только Сурамы, который управлял штурвалом, пока доктор читал или просматривал свои записи. Эти регулярные отлучки премного устраивали Далтона, ибо давали ему возможность возобновить ухаживание за Джорджиной. Порой он засиживался в гостях до возвращения Альфреда, причем последний всегда приветствовал его очень тепло, несмотря на свою природную сдержанность. Вскоре помолвка Джеймса и Джорджины стала делом решенным, и они двое ждали лишь удобного случая, чтобы поговорить с Альфредом.

Губернатор, неизменно благородный и верный своей роли покровителя, не пожалел усилий, чтобы настроить общественное мнение в пользу своего старого друга. И пресса, и чиновники почувствовали на себе его давление; он даже сумел возбудить интерес в ученых Восточного побережья, так что многие из них приехали в Калифорнию с целью изучить лихорадку и исследовать противолихорадочную бациллу, которую Кларендон столь быстро вывел и теперь совершенствовал. Эти врачи и биологи, однако, не получили интересующей их информации, и некоторые из них уехали крайне недовольными. Многие написали враждебные статьи против Кларендона, обвиняя его в ненаучном подходе и погоне за славой, а также намекая, что он скрывает свои методы из стремления к личной выгоде, совершенно не достойного профессионала.

К счастью, другие были более объективны в своих суждениях и писали о Кларендоне и его работе в восторженном тоне. Они видели пациентов и по достоинству оценили умение, с каким он держал в узде ужасную болезнь. Скрытность доктора в отношении антитоксина они сочли вполне оправданной, поскольку распространение недоработанного препарата наверняка принесло бы больше вреда, чем пользы. Сам Кларендон, с которым многие из них встречались не впервые, произвел на них еще более сильное впечатление против прежнего, и они без колебаний сравнивали его с Дженнером, Листером, Кохом, Пастером, Мечниковым и прочими великими учеными, посвятившими жизнь служению медицине и человечеству. Далтон собирал для Альфреда все газеты и журналы, где публиковались положительные отзывы о нем, и лично доставлял их другу, таким образом получая возможность лишний раз увидеться с Джорджиной. Хвалебные статьи, однако, не вызывали у Кларендона ничего, помимо презрительной улыбки, и он обычно небрежно отдавал их Сураме, чьи нервирующие утробные

смешки, раздававшиеся в процессе чтения, выражали чувство, близкое к ироническому презрению самого доктора.

В первых числах февраля, в понедельник вечером, Далтон явился с твердым намерением просить у Кларендона руки его сестры. Джорджина сама встретила его у ворот, и по пути к дому он остановился приласкать огромного пса, который бросился навстречу и дружелюбно положил передние лапы ему на грудь. Это был Дик, любимый сенбернар Джорджины, и Далтон поразился, что пользуется расположением существа, столь много значащего для нее.

Дик, возбужденный и радостный, своим бурным напором развернул губернатора чуть ли не кругом, а потом тихо гавкнул и понесся между деревьями в сторону клиники. Однако он не скрылся из виду, а вскоре остановился, обернулся и снова приглушенно гавкнул, словно призывая Далтона последовать за ним. Джорджина, всегда охотно подчинявшаяся игривым прихотям своего огромного любимца, знаком показала Джеймсу, что надо бы пойти посмотреть, чего хочет Дик, и они неспешно двинулись за псом, с довольным видом потрусившим в глубину заднего двора, где над высокой кирпичной стеной вырисовывалась на фоне звездного неба крыша клиники.

Сквозь щели в темных оконных шторах пробивался свет – значит Альфред и Сурама все еще работали. Внезапно из здания донесся тонкий приглушенный звук, похожий на детский плач, – жалобный крик «Мама! Мама!», заслышав который Дик залаял, а Джеймс и Джорджина вздрогнули. Потом Джорджина улыбнулась, вспомнив о подопытных попугаях Кларендона, и погладила пса по голове – то ли прощая шалуна за розыгрыш, то ли утешая любимца, попавшего впросак.

Когда они медленно направились обратно к дому, Далтон сообщил о своем намерении нынче же вечером поговорить с Альфредом о помолвке. Джорджина не возражала. Она знала, что перспектива потерять в ее лице преданного помощника и компаньона не обрадует брата, но верила, что его любовь не станет препятствием на ее пути к счастью.

Позже вечером Кларендон вошел в дом пружинистым шагом, с выражением лица менее угрюмым против обычного. Губернатор увидел в непринужденной веселости друга добрый знак и тотчас воспрянул духом, а доктор крепко пожал ему руку и шутливо спросил: «Ну, Джимми, что у нас новенького в политической жизни?» Поймав быстрый взгляд возлюбленного, Джорджина под каким-то предлогом удалилась, а двое мужчин уселись в кресла и завели беседу о том о сем. Пустившись в воспоминания о днях юности, Далтон исподволь подводил разговор к главной теме и наконец задал вопрос прямо в лоб:

– Альф, я хочу жениться на Джорджине. Ты благословишь нас?

Пристально глядя на старого друга, Далтон увидел тень, набежавшую на его лицо. Темные глаза на мгновение вспыхнули, а потом погасли, приняв обычное невозмутимое выражение. Итак, научные – или эгоистические – интересы все же возобладали!

– Ты просишь невозможного, Джеймс. Джорджина уже не беспечный мотылек, каким была много лет назад. Теперь она трудится на благо истины и человечества, и ее место здесь. Она решила посвятить свою жизнь моей работе – точнее, домашнему хозяйству, дающему мне возможность спокойно работать, – и не вправе оставлять свои обязанности или потакать собственным прихотям.

Далтон немного помолчал, чтобы убедиться, что Кларендон закончил. Руководимый все тем же фанатизмом – человечество против отдельной личности, – доктор определенно собирался испортить жизнь своей сестре! Потом он попытался ответить:

– Но послушай, Альф, неужто ты хочешь сказать, что Джорджина столь необходима для твоей работы, что тебе непременно надо сделать из нее рабыню и мученицу? Нужно же знать меру, дружище! Если бы речь шла о Сураме или о любом другом непосредственном участнике твоей экспериментаторской деятельности – тогда совсем другое дело. Но ведь в конечном счете Джорджина всего лишь твоя домоправительница. Она дала согласие стать

моей женой и говорит, что любит меня. Разве ты имеешь право распоряжаться жизнью сестры? Разве имеешь право...

– Довольно, Джеймс! – Лицо Кларендона побледнело и стало каменным. – Имею я право распоряжаться собственной семьей или нет, посторонних не касается.

– Посторонних... и ты говоришь это человеку, который... – Далтон едва не задохнулся от негодования, а доктор ледяным тоном вновь перебил его:

– Который не принадлежит к кругу моей семьи и отныне не вхож в мой дом. Ваша наглость заходит слишком далеко, Далтон! Всего доброго, губернатор!

И Кларендон стремительно удалился прочь, не подав руки на прощанье.

Далтон на миг смешался, не зная, что делать, но вскоре в комнату вошла Джорджина. Далтон понял по лицу возлюбленной, что она уже успела перемолвиться с братом, и порывисто схватил ее за руки.

– Ну, Джорджи, что ты скажешь? Боюсь, тебе придется выбирать между Альфом и мной. Ты знаешь, что я чувствую сейчас, ты знаешь, что я чувствовал в прошлом, когда мне отказал твой отец. Что ты скажешь мне на сей раз?

Он умолк, и Джорджина медленно проговорила:

– Джеймс, милый, ты веришь, что я люблю тебя?

Он кивнул и, исполненный надежды, стиснул ее руки.

– Тогда, если ты тоже меня любишь, ты немного подождешь. Не обращай внимания на грубость Альфа. Его надо пожалеть. Я не могу рассказать тебе все сейчас, но ты ведь знаешь, я вся извелась от тревоги за брата: такая напряженная работа, столь жестокие нападки прессы, да еще постоянное присутствие этого ужасного Сурамы с его леденящим душу взглядом и хихиканьем! Я боюсь, он не выдержит: он переутомлен гораздо сильнее, чем кажется со стороны. Я это вижу, поскольку знаю его всю жизнь. Он меняется – медленно сгибается под тяжестью непосильной ноши – и скрывает свое состояние под маской грубости. Ты ведь понимаешь, о чем я, дорогой?

Джорджина умолкла, и Далтон снова кивнул, прижимая одну ее руку к своей груди. Тогда она закончила:

– Так пообещай же мне хранить терпение, любимый мой. Я должна поддержать Альфа сейчас. Должна, должна!

Далтон с минуту молчал, склонив голову в почти благоговейном поклоне. В этой преданной женщине было больше от Христа, чем в любом другом человеке, и перед лицом такой любви и верности он не мог ни на чем настаивать.

Печальное прощанье было кратким, и Джеймс, чьи голубые глаза туманились слезами, едва заметил костлявого ассистента доктора, отворившего перед ним ворота на улицу. Но как только они с грохотом захлопнулись у него за спиной, он услышал до боли знакомый, леденящий кровь смехок и понял, что там был Сурама – Сурама, которого Джорджина называла злым гением своего брата. Зашагав прочь твердой походкой, Далтон решил смотреть в оба и действовать при первых же признаках беды.

III

Между тем Сан-Франциско, по-прежнему полный слухов об эпидемии, кипел ненавистью к Кларендону. На самом деле вне стен тюрьмы было очень мало случаев черной лихорадки, и почти все они приходились на беднейшие слои мексиканского населения, жившего в антисанитарных условиях, исключительно благоприятных для развития самых разных болезней. Однако политикам и горожанам этого оказалось достаточно, чтобы присоединиться к нападкам на доктора. Видя, что Далтон неколебим в своей решимости защищать Кларендона, недовольные обыватели, консервативные медики и продажные мелкие политики переключили

свое внимание на законодательное собрание штата – они расчетливо объединили противников Кларендона со старыми врагами губернатора и готовились неоспоримым большинством голосов утвердить закон, по которому право назначения на должность в местные лечебные учреждения переходило от главы исполнительной власти к различным заинтересованным коллегиям и комиссиям.

Ни один лоббист не принимал в продвижении данного законопроекта столь деятельного участия, как главный помощник Кларендона, доктор Джонс. С самого начала питавший зависть к своему начальнику, теперь он увидел возможность обернуть дело в свою пользу и благодарил судьбу за то, что приходится родственником председателю тюремного попечительского совета (в силу какового обстоятельства он, собственно, и занимал нынешнее свое положение). В случае принятия нового закона Кларендона непременно сместят с должности, и на пост главного врача Сан-Квентина назначат его, Джонса, – и потому он, преследуя своекорыстные интересы, старался вовсю. Джонс являлся полной противоположностью Кларендону – прирожденный политикан и угодливый приспособленец, он в первую очередь заботился о своей карьере и занимался наукой лишь между прочим. Он был беден и жаждал получить хорошо оплачиваемую должность – в отличие от богатого и независимого ученого, чье место он стремился занять. С крысиными коварством и упорством он подкапывался под своего начальника, великого биолога, и в конце концов был вознагражден известием, что новый закон принят. Отныне губернатор лишился права назначения на должности в учреждения штата, и вопрос о руководстве лечебной частью Сан-Квентина переходил в ведение тюремного попечительского совета.

Кларендон единственный не замечал всей этой законодательной кутерьмы. Всецело поглощенный своими служебными обязанностями и научными исследованиями, он остался слеп к предательству «болвана Джонса», работавшего бок о бок с ним, и глух ко всем сплетням, наводнявшим контору начальника тюрьмы. Он никогда в жизни не читал газет, а с изгнанием Далтона из своего дома потерял последнюю реальную связь с внешним миром. С наивностью отшельника он ни на миг не усомнился в надежности своего положения. Принимая во внимание преданность Далтона и его способность прощать гораздо более тяжелые обиды (что подтвердил случай со старым Кларендоном, который довел Далтона-старшего до самоубийства, разорив на фондовой бирже), он, разумеется, даже не допускал мысли, что губернатор может сместить его с должности. А в силу своего политического невежества доктор не мог предвидеть такой перемены ситуации, при которой право назначения и смещения должностных лиц переходило бы в другие руки. Посему, узнав об отъезде Далтона в Сакраменто, он просто довольно улыбнулся, убежденный в стабильности как своего положения в Сан-Квентине, так и положения сестры в доме. Он привык получать все, чего хотел, и полагал, что удача по-прежнему сопутствует ему.

В первую неделю марта, через день-другой после вступления в силу нового закона, председатель тюремного попечительского совета прибыл в Сан-Квентин. Кларендона не оказалось на месте, но доктор Джонс с превеликим удовольствием провел важного посетителя (своего собственного дядю, к слову сказать) по огромному госпиталю, заглянув среди всего прочего и в палату для лихорадочных больных, ставшую столь известной благодаря усилиям прессы и массовым паническим настроениям. Джонс, к тому времени против воли согласившийся с мнением Кларендона о незаразности недуга, с улыбкой заверил дядю, что бояться нечего, и предложил внимательно осмотреть пациентов – в особенности жуткого вида скелет, который в недавнем прошлом был цветущим здоровяком, а ныне, намекнул молодой врач, умирал медленной мучительной смертью, поскольку Кларендон не назначал ему нужного лекарства.

– Ты хочешь сказать, что доктор Кларендон отказывает несчастному в необходимой помощи, хотя его еще можно спасти? – вскричал председатель.

– Именно так, – отрывисто промолвил Джонс и тут же умолк, ибо дверь вдруг отворилась и в палату вошел Кларендон собственной персоной. Он холодно кивнул Джонсу и окинул неодобрительным взглядом незнакомого посетителя.

– Доктор Джонс, мне казалось, вы знаете, что этого больного вообще нельзя беспокоить. И разве я не говорил, что сюда посетители допускаются только по особому разрешению?

Но председатель заговорил прежде, чем племянник успел его представить.

– Прошу прощения, доктор Кларендон, но верно ли я понял, что вы отказываетесь давать этому человеку лекарство, которое может его спасти?

Кларендон холодно посмотрел на него и ответил с металлом в голосе:

– Ваш вопрос неуместен, сэр. Я здесь начальник, а посторонние сюда не допускаются. Будьте любезны покинуть палату сию же минуту.

Председатель, втайне питавший слабость к драматическим эффектам, отвечал излишне напыщенно и надменно:

– Вы заблуждаетесь на мой счет, сэр! Начальник здесь я, а не вы. Вы разговариваете с председателем попечительского совета тюрьмы. Более того, я должен сказать, что считаю вашу деятельность опасной для благополучия заключенных, и вынужден просить вас подать в отставку. Отныне заведовать госпиталем будет доктор Джонс, и вам придется подчиняться его приказам, коли вы пожелаете остаться здесь до официального увольнения.

Это был звездный миг Уилфреда Джонса. Ни прежде, ни впоследствии судьба ни разу не дарила ему столь счастливого момента, и потому нам нет нужды проникаться к нему недобрыми чувствами. В конце концов, он был человеком скорее ничтожным, нежели дурным, и в своих поступках руководствовался главным принципом ничтожных людей: «заботиться о себе любой ценой». Кларендон застыл на месте, уставившись на председателя как на сумасшедшего, но уже в следующий миг по торжествующему лицу доктора Джонса понял, что действительно происходит что-то важное. С ледяной вежливостью он промолвил:

– Несомненно, вы именно тот, кем себя рекомендуете, сэр. Но, по счастью, мое назначение утверждено губернатором штата, а следовательно, только он вправе его отменить.

Председатель и его племянник недоуменно воззрились на Кларендона, ибо они даже не предполагали, сколь далеко может заходить неосведомленность человека в вопросах общественной жизни. Потом старший мужчина, уразумев ситуацию, довольно подробно объяснил положение вещей.

– Когда бы я удостоверился в ложности имеющих хождение слухов, – в заключение сказал он, – я бы повременил с решительными действиями, но случай с этим несчастным и ваше собственное заносчивое поведение не оставляют мне выбора. В общем...

Но Кларендон перебил его резким, звенящим голосом:

– В настоящий момент начальником здесь являюсь я, и я прошу вас немедленно покинуть палату.

Председатель побагровел и взорвался:

– Послушайте, сэр, да вы соображаете, с кем разговариваете? Я в два счета вышвырну вас отсюда, черт бы побрал вашу наглость!

Но он едва успел закончить оскорбительную фразу. Внезапно превратившись в мощный генератор ненависти, худосочный ученый выбросил вперед оба кулака со сверхъестественной силой, какой никто в нем и предположить не мог. И если сила удара была исключительной, то равно исключительной оказалась и точность онога, ибо даже чемпион мира по боксу не смог бы достичь лучшего результата. Оба мужчины – председатель и доктор Джонс – были повержены наповал, один прямым в нос, другой прямым в челюсть. Рухнув, точно подрубленные деревья, они недвижно распростерлись на полу в беспомощности. А Кларендон, теперь полностью овладевший собой, взял шляпу и трость и вышел, чтобы присоединиться к Сураме, ждавшему на катере. Только когда они отплыли от берега, доктор наконец дал словесный выход

своей страшной ярости. С искаженным от гнева лицом он призвал на головы своих недругов проклятия звезд и надзвездных бездн – так что даже Сурама содрогнулся, сотворил древнее знамение, не описанное ни в одном историческом труде, и на сей раз позабыл хихикнуть.

IV

Джорджина изо всех сил постаралась облегчить ужасное душевное состояние брата. Он вернулся домой изнуренный морально и физически и бессильно упал на кушетку в библиотеке. В этой сумрачной комнате преданная сестра мало-помалу узнала от него почти невероятную новость. Она тотчас же принялась нежно утешать Альфреда и убедительно объяснила, что все нападки прессы, преследования и увольнение являются лишь признанием его величия, пусть косвенным. По совету Джорджины он попытался не принимать случившееся близко к сердцу и, возможно, преуспел бы в своих стараниях, когда бы дело касалось одного лишь чувства собственного достоинства. Но лишиться возможности заниматься научными исследованиями – такую утрату доктор никак не мог перенести спокойно. Поминутно вздыхая, он снова и снова повторял, что еще три месяца работы в тюрьме позволили бы ему наконец получить искомую бациллу, благодаря которой человечество навсегда покончило бы со всеми разнообразными лихорадками.

Тогда Джорджина попробовала утешить брата иным способом и выразила уверенность, что тюремный попечительский совет вскоре призовет его обратно, если эпидемия не пойдет на спад или вспыхнет с новой силой. Но даже это не возымело действия; Кларендон отвечал лишь малопонятными короткими фразами, полными горечи и иронии, и тон его ясно свидетельствовал о глубоком отчаянии и жестокой обиде.

– Пойдет на спад? Вспыхнет с новой силой? О, она пойдет на спад, разумеется! По крайней мере, они так подумают. Они будут думать, как им удобно, невзирая на истинное положение вещей! Невежественные глаза не видят ничего, и бездари не совершают открытий. Наука никогда не повернется лицом к подобным людям. И они еще называют себя врачами! А главное – ты только представь этого болвана Джонса в роли начальника госпиталя!

Он презрительно усмехнулся, а затем разразился сатанинским хохотом, от которого Джорджину бросило в дрожь.

Все последовавшие дни в особняке Кларендонов царила унылая атмосфера. Тяжелая, беспросветная депрессия завладела обычно деятельным и неутомимым умом доктора, и он даже отказался бы от всякой пищи, если бы Джорджина силком не заставляла его есть. Толстая тетрадь с записями наблюдений пылилась на столе в библиотеке, а маленький золотой шприц с противолихорадочной сывороткой (изобретенный доктором хитроумный инструмент с запасным резервуаром, крепившимся к золотому кольцу на пальце) лежал без дела в кожаном футляре рядом с ней. От былых энергии, целеустремленности, страстного желания работать не осталось и следа, и Кларендон даже не вспоминал о своей клинике, где его ждали сотни пробирок с бактериальными культурами.

Многочисленные животные, предназначенные для опытов, резвились, сытые и веселые, в лучах весеннего солнца, и когда Джорджина, пройдя через розарий, приближалась к клеткам, она чувствовала разлитое в воздухе счастье, несовместное с общей атмосферой усадьбы. Однако она понимала, что счастье это трагически мимолетно – ведь с возобновлением исследовательской работы все эти зверюшки обречены пасть жертвами науки, – а посему расценивала бездействие брата как отсрочку приговора для них и всячески поощряла его продолжать отдых, в котором он крайне нуждался. Восемь слуг-тибетцев бесшумно скользили по комнатам, выполняя свои обязанности, по обыкновению, безупречно, и Джорджина следила, чтобы заведенный в доме порядок не нарушался в связи с праздным времяпрепровождением хозяина.

Отказавшись от науки и далекоидущих устремлений ради вялого прозябания в неизменных шлепанцах и халате, Кларендон позволял Джорджине обращаться с собой как с малым ребенком. Он встречал материнские хлопоты сестры слабой печальной улыбкой и покорно подчинялся всем ее распоряжениям и предписаниям. В полусонном доме воцарилась атмосфера дремотного блаженства, единственный диссонанс в которую вносил Сурама. Он явно чувствовал себя несчастным и часто смотрел с угрюмым негодованием на безмятежно-умиротворенное лицо Джорджины. Находивший единственную отраду в кипучей экспериментаторской деятельности, он тосковал по привычным занятиям – ибо страсть как любил хватать обреченных животных цепкими когтями, относить в клинику и, гнусно посмеиваясь, наблюдать горящим замороженным взглядом, как они медленно впадают в кому, с налитыми кровью, выпученными глазами и вываливающимися из вспененной пасти распухшим языком.

Теперь он приходил в отчаяние при виде беспечных животных в клетках и часто являлся к Кларендону с вопросом, нет ли у него каких распоряжений. В очередной раз удостоверившись в нежелании апатичного доктора возобновлять работу, он, злобно ворча себе под нос и бросая по сторонам свирепые взгляды, по-кошачьи бесшумной поступью уходил в свою подвальную комнату, откуда порой доносился его приглушенный низкий голос, произносящий странные ритмичные фразы явно нечестивого содержания, которые наводили на мысль о некоем богомерзком ритуале.

Все это действовало на нервы Джорджине, но далеко не так сильно, как затянувшаяся апатия брата. Встревоженная отсутствием каких-либо изменений к лучшему, она мало-помалу утратила веселый, довольный вид, страшно раздражавший Сураму. Сама знавшая толк в медицине, она находила состояние доктора крайне неудовлетворительным с точки зрения психиатрии, и теперь его безучастность и бездеятельность пугали ее не меньше, чем прежний фанатический пыл и излишнее рвение. Неужто затянувшаяся меланхолия превратит блестящего ученого в никчемного идиота?

Но ближе к концу мая произошла неожиданная перемена. Джорджина навсегда запомнила мельчайшие детали, с ней связанные, – такие вроде бы незначительные детали, как доставленная накануне Сураме посылка с алжирским почтовым штемпелем, источавшая чрезвычайно неприятный запах, и внезапная сильная гроза (крайне редкое для Калифорнии явление), которая разразилась ночью, когда Сурама монотонно читал ритуальные заклинания за запертой подвальной дверью – гулким низким голосом, звучащим громче и напряженнее, чем обычно.

Следующий день выдался солнечным, и Джорджина с утра вышла в сад набрать цветов для столовой. Вернувшись в дом, она увидела брата в библиотеке – полностью одетый, он сидел за рабочим столом, просматривая заметки в своем толстом журнале наблюдений и делая новые записи уверенными скорыми росчерками пера. Альфред был полон энергии, и в движениях его сквозила былая бодрость, когда он изредка переворачивал страницы или тянулся за одной из книг, лежавших на противоположном краю огромного стола. С чувством радости и облегчения Джорджина поспешила в столовую, дабы поставить букет в вазу, но по возвращении обратно в библиотеку обнаружила, что брат уже ушел.

Разумеется, она решила, что Альфред отправился в клинику, и возликовала при мысли, что рабочее настроение и целеустремленность вернулись к нему. Поняв, что ждать его к завтраку бесполезно, она поела одна и оставила небольшую порцию на плите, чтобы быстро разогреть в случае, если он все-таки улучит минутку и забежит перекусить. Но он так и не пришел. Доктор наверстывал потерянное время и по-прежнему находился в обшитом толстыми досками здании клиники, когда Джорджина вышла прогуляться по увитой розами аллее.

Прохаживаясь среди благоуханных цветов, она увидела Сураму, выбиравшего животных для опыта. Джорджине хотелось бы, чтобы ассистент пореже попадался ей на глаза, ибо он одним своим видом вгонял ее в дрожь, но самый этот страх обострял ее зрение и слух во всем, что касалось Сурамы. Он всегда ходил по усадьбе с непокрытой головой, и безволосый череп

усиливал его жуткое сходство со скелетом. Она услышала тихий смешок, когда ассистент вытащил из клетки маленькую обезьянку и понес в клинику, впившись длинными костлявыми пальцами в пушистые бока столь жестоко, что несчастный зверек пронзительно закричал от испуга и боли. От этого зрелища Джорджине стало дурно, и она торопливо удалилась в дом. В душе у нее поднимался бурный протест против ужасного существа, взявшего такую власть над ее братом, и она с горечью подумала, что слуга и хозяин практически поменялись местами.

Кларендон не вернулся домой к ночи, и Джорджина решила, что он всецело поглощен одним из самых продолжительных своих экспериментов, а значит потерял всякий счет времени. Ей очень не хотелось ложиться спать, не поговорив с братом о его неожиданном выздоровлении, но в конце концов она поняла, что ждать бесполезно, написала веселую записку, которую положила на стол в библиотеке, а затем решительно направилась в свою спальню.

Джорджина еще не совсем заснула, когда услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Значит, все-таки работа не затянулась на всю ночь! Решив проследить за тем, чтобы брат поел перед сном, она встала, накинула халат и спустилась вниз, но уже возле самой библиотеки остановилась, услышав голоса за приоткрытой дверью. Кларендон и Сурама разговаривали там, и она стала ждать, когда ассистент уйдет.

Однако Сурама не проявлял никакого желания удалиться, и возбужденный тон собеседников свидетельствовал о полной их поглощенности разговором, который обещал быть долгим. Джорджина не собиралась подслушивать, но все же невольно улавливала отдельные фразы и вскоре почувствовала в них некий зловещий подтекст, сильно ее испугавший, хотя и оставшийся не вполне ясным. Резкий, нервный голос брата настойчиво приковывал внимание встревоженной Джорджины.

– Но в любом случае, – говорил Альфред, – у нас недостаточно животных для еще одного дня работы, а ты сам знаешь, как трудно достать порядочную партию по первому требованию. Глупо тратить столько усилий на относительную ерунду, когда можно раздобыть человеческие экземпляры, приложив лишь немного дополнительных стараний.

При одном предположении о возможном смысле, скрытом в словах брата, Джорджине стало дурно, и она ухватилась за вешалку, чтобы удержаться на ногах. Сурама ответил низким глухим голосом, в котором, казалось, отражалось далеким эхом зло тысячи веков и тысячи планет.

– Тише, угомонись! Со своей спешкой и нетерпением ты подобен малому ребенку. Зачем торопить события? Когда бы ты жил, как я, для которого вся жизнь не длиннее часа, ты не стал бы так нервничать из-за одного дня, недели или месяца! Ты работаешь слишком быстро. Экземпляров в клетках тебе хватило бы на целую неделю, если бы ты выдерживал разумный темп. Ты даже можешь пустить в ход старый подопытный материал, но только не переусердствуй.

– Моя спешка – не твоего ума дело! – прозвучал резкий, отрывистый ответ. – У меня свои методы. Я не хочу использовать наш подопытный материал без крайней необходимости, предпочитая иметь их под рукой в нынешнем виде. В любом случае тебе стоит держаться с ними поосторожнее – ты ведь знаешь: эти хитрые псы не расстаются с ножами.

Сурама издал низкий смешок.

– За меня не беспокойся. Эти тупые скоты едят, верно? А значит, при надобности я всегда могу доставить тебе одного из них. Только не торопись – после смерти мальчишки у нас их осталось всего восемь, а теперь, когда ты потерял место в Сан-Квентине, раздобыть новую партию будет трудно. Я советую начать с Тсанпо – он самый бесполезный из всех, и...

Дальше Джорджина не стала слушать. Охваченная диким ужасом при мыслях, возбужденных в ней этим разговором, она с трудом удержалась на ногах и едва нашла в себе силы подняться по лестнице и добрести до своей комнаты. Что замышляет это гнусное чудовище, Сурама? Во что он втягивает ее брата? Какие страшные обстоятельства кроются за этими зага-

дочными фразами? Сотни кошмарных, зловещих видений проносились перед ее умственным взором, и она бросилась на кровать, даже не надеясь заснуть. Одна мысль до жути резко выделялась среди всех прочих, и Джорджина чуть не закричала в полный голос, когда она вспыхнула в мозгу с новой силой. Потом наконец в дело вмешалась Природа, более милосердная, чем ожидала несчастная женщина. Закрыв глаза, она впала в глубокий обморок, продолжавшийся до самого утра, и ни один новый кошмар не усугубил в ней безумного ужаса, вызванного подслушанным разговором.

При свете утреннего солнца нервное напряжение отпустило. Ночью сознание усталого человека зачастую воспринимает действительность в искаженном виде, и Джорджина решила, что ее утомленный мозг, видимо, превратно истолковал обрывки самой обычной профессиональной беседы. Предположить, что брат – единственный сын благородного Фрэнсиса Шайлера Кларендона – повинен в жестоких жертвоприношениях, значило бы несправедливо оскорбить весь род Кларендон, и она положила ни словом не упоминать о ночном эпизоде, дабы Альфред не высмеял ее нелепые фантазии.

Спустившись к завтраку, она уже не застала брата дома и пожалела, что и на второе утро упустила возможность поздравить его с возобновлением работы. Неторопливо съев завтрак, поданный глухой как пень Маргаритой, старой кухаркой мексиканского происхождения, Джорджина прочитала утреннюю газету и уселась с шитьем у окна гостиной, выходявшей на просторный задний двор. Там царила тишина, и она видела, что последние клетки для животных опустели. Приношение науке свершилось, и останки прелестных резвых существ, еще недавно живых, ныне покоились в яме с негашеной известью. Убийство бедных зверюшек всегда глубоко огорчало Джорджину, но она никогда не жаловалась, поскольку понимала: все это делается во благо человечества. Быть сестрой ученого, часто говорила она себе, все равно что быть сестрой солдата, который убивает, защищая своих соотечественников от врагов.

После ланча Джорджина расположилась на прежнем месте у окна и сосредоточенно шила, покуда хлопок выстрела во дворе не заставил ее в тревоге выглянуть наружу. Там, неподалеку от здания клиники, она увидела отвратительного Сураму с револьвером в руке – со странной гримасой на черепообразном лице он мерзко хихикал, глядя на сжавшегося от страха человека в черном балахоне, вооруженного длинным тибетским ножом. Узнав в этом иссохшем мужчине слугу по имени Тсанпо, Джорджина с ужасом вспомнила о подслушанном накануне разговоре. Солнце сверкнуло на полированном лезвии, и в следующий миг револьвер снова выстрелил. На сей раз нож вылетел из руки монгола, и Сурама кровожадно уставился на трясущуюся обескураженную жертву.

Бросив быстрый взгляд на свою неповрежденную руку и на упавший нож, Тсанпо живо отпрыгнул от ассистента, приближавшегося кошачьей поступью, и метнулся к дому. Однако Сурама оказался проворнее: он настиг слугу одним прыжком, схватил за плечо и резко опрокинул, едва не переломив ему хребет. Тибетец попытался вырваться, но Сурама поднял его за шиворот, точно животное, и понес к клинике. Джорджина услышала, как он хихикает и издевается над беднягой на тибетском наречии, и увидела, как желтое лицо жертвы кривится и дергается от страха. Против своей воли она вдруг поняла, что происходит, и от дикого ужаса лишилась чувств во второй раз за сутки.

Когда она очнулась, комнату заливал золотой свет предзакатного солнца. Подобрав с пола корзинку и рассыпанные швейные принадлежности, Джорджина погрузилась в пучину сомнений, но в конце концов исполнилась уверенности, что жуткая сцена, столь глубоко ее потрясшая, происходила наяву. Значит, самые страшные ее догадки оказались ужасной правдой. Совершенно не подготовленная ни к чему подобному, она не знала, что делать, и была даже рада, что брат так и не появился. Она должна поговорить с ним, но не сейчас. Сейчас она не в силах ни с кем разговаривать. Содрогаясь при мысли о кошмарных делах, творящихся за заре-

печенными окнами клиники, Джорджина забралась в постель, чтобы промучиться бессонницей всю долгую ночь напролет.

Поднявшись наутро в совершенно разбитом состоянии, она увидела доктора впервые с момента его выздоровления. Он деловито сновал между домом и клиникой, не обращая внимания ни на что, помимо своей работы. Джорджине не представилось возможности поговорить с ним на тему, приводившую ее в ужас, а Кларендон даже не заметил измученного и смятенного вида сестры.

Вечером она услышала, как брат разговаривает сам с собой в библиотеке (каковой привычки никогда за ним не наблюдалось), и поняла, что он находится в состоянии крайнего нервного напряжения, которое может разрешиться новым приступом апатии. Войдя в комнату, Джорджина попыталась успокоить доктора, не затрагивая никаких неприятных предметов, и заставила выпить чашку укрепляющего бульона. Наконец она мягко спросила, чем он расстроен, и с волнением стала ждать ответа, надеясь услышать, что брата ужаснуло и разгневало обращение Сурамы с бедным тибетцем.

Он ответил с раздражением в голосе:

– Чем я расстроен? Боже мой, Джорджина, да логичнее спросить, чем я *не* расстроен! Взгляни на клетки – и сама все поймешь! Они все пусты-пустехоньки, ни единой чертовой зверюшки не осталось – и ряд важнейших бактериальных культур выращивается в пробирках без малейшего шанса принести хоть каплю пользы! День работы псу под хвост, вся программа экспериментов срывается – этого вполне достаточно, чтобы сойти с ума! Да разве я добьюсь когда-нибудь мало-мальски значимых результатов, если не могу наскрести приличного подопытного материала?

Джорджина погладила брата по голове:

– Думаю, тебе следует немного отдохнуть, Ал, дорогой.

Он дернулся в сторону:

– Отдохнуть? Отлично! Просто превосходно! А чем еще, собственно, я занимался, если не отдыхал, прозябал да тупо таращился в пустоту последние пятьдесят лет, или сто, или тысячу? И вот, когда мне наконец удалось совершить настоящий прорыв, у меня кончается подопытный материал – и мне советуют снова впасть в идиотическое оцепенение! Господи! А ведь тем временем, возможно, какой-нибудь подлый вор работает с данными моих исследований и уже готов опередить меня, воспользовавшись плодами моего собственного труда. Я отстану на голову – какой-нибудь дурак, располагающий необходимым экспериментальным материалом, возьмет приз, хотя я, при наличии даже посредственных условий для работы, уже через неделю добился бы триумфального успеха!

Он раздраженно повысил голос, в котором слышались истерические нотки, очень не понравившиеся Джорджине. Она промолвила мягко, но не настолько, чтобы создалось впечатление, будто она успокаивает припадочного психопата:

– Но ты убиваешь себя своими переживаниями и нервными муками. А как сможешь ты завершить работу, если умрешь?

Улыбка Кларендона напоминала скорее презрительную ухмылку.

– Полагаю, неделю или месяц – а большего времени мне и не требуется – я еще протяну. А что в конечном счете станет со мной или любой другой отдельной личностью, не имеет особого значения. Служить надобно единственно науке, которая есть тернистый путь к знанию. Я ничем не отличаюсь от своих подопытных обезьян и морских свинок; я всего лишь винтик в машине, призванный послужить общему благу. Животных приходится убивать – возможно, и мне придется умереть, – ну так и что с того? Разве дело, которому мы служим, не стоит таких жертв и даже больших?

Джорджина вздохнула и на миг задалась вопросом, а стоит ли действительно хоть чего-нибудь вся эта бесконечная череда убийств.

– Но ты твердо уверен, что твое открытие станет для человечества достаточно великим благом, чтобы оправдать все эти жертвы?

Глаза Кларендона опасно сверкнули.

– Человечество! Да что такое человечество, черт побери? Служители науки! Бездари! Историю творят только личности! Человечество создано для проповедников, видящих в нем сообщество легковверных глупцов. Человечество создано для хищных финансовых воротил, разговаривающих с ним на языке долларов и центов. Человечество создано для политиков, находящих в нем коллективную силу, которую надлежит использовать в собственных интересах. Что такое человечество? Да пустое место! Слава богу, мы уже расстаемся с детскими иллюзиями по поводу человечества! Взрослый человек служит только истине – знанию – науке – свету просвещения – великому делу срывания покровов и рассеяния тьмы. Знание – это безжалостная и неумолимая сила! Смерть – неотъемлемый элемент нашего познания мира. Мы должны убивать, препарировать, уничтожать – все ради научных открытий, во имя служения невыразимому свету истины. Этого требует богиня Наука. Мы проверяем действие неизученного яда, умерщвляя живое существо. А как иначе? Мы думаем не о себе – нас интересует только знание.

Голос у доктора пресекался, словно от изнеможения, и Джорджина легко вздрогнула:

– Но это же ужасно, Ал! Негоже держаться такого образа мыслей!

Кларендон издал сардонический смешок, вызвавший у сестры странные и крайне неприятные ассоциации.

– Ужасно? По-твоему, *мои* речи ужасны? Тебе стоит послушать Сураму! Говорю тебе, жрецы Атлантиды владели таким тайным знанием, что ты бы умерла от страха при одном косвенном упоминании о нем. Оно существовало и сто тысяч лет назад, когда наши предки бродили по Азии, будучи всего лишь бессловесными полуобезьянами! Знание это сохранилось в виде отдельных обрывков в области Хоггар, слухи о нем ходят в самых удаленных нагорьях Тибета, а однажды я слышал, как один старый китаец призывал Йог-Сотота...

Он побледнел и начертил в воздухе странный знак указательным пальцем. Джорджина не на шутку встревожилась, но несколько успокоилась, когда речь брата приняла менее экстравагантный характер.

– Да, возможно, это ужасно, но это и прекрасно тоже. Поиски знания, я имею в виду. Ни о каких низменных помыслах здесь не идет и речи, конечно же. Разве Природа не убивает – непрестанно и безжалостно? И разве кого-нибудь, помимо отпетых дураков, приводит в ужас борьба за существование? Убийства необходимы. Они служат к возвеличению науки. Из них мы черпаем новое знание, и мы не вправе отказаться от такой возможности в угоду сантиментам. Ты только послушай, как шумно протестуют сентиментальные глупцы против вакцинаций! Они боятся, что прививка убьет ребенка. Ну и что, если убьет? Разве есть иной способ выявить законы развития того или иного заболевания? Как сестре ученого, тебе следовало бы быть поумнее и не болтать всякий сентиментальный вздор. Ты должна всячески содействовать моей работе, а не препятствовать ей!

– Но, Ал, – запротестовала Джорджина, – у меня нет ни малейшего намерения препятствовать твоей работе! Разве я не старалась всегда помогать по мере своих сил? Я невежественна, положим, и потому не могу оказать существенную помощь, но я, по крайней мере, горжусь тобой – ибо ты моя гордость и гордость всей нашей семьи, – и я всегда старалась освободить тебя от житейских забот. Ты сам неоднократно ставил это мне в заслугу.

Кларендон пристально посмотрел на нее.

– Да, ты права, – отрывисто промолвил он, вставая и направляясь к двери. – Ты всегда помогала мне как могла. Возможно, тебе еще представится случай оказать мне более существенную помощь.

Он вышел из дома на передний двор, и Джорджина последовала за ним. Они двинулись на свет фонаря, горевшего поодаль за деревьями, и вскоре увидели Сураму, который склонился над неким крупным телом, распростертым на земле. Кларендон коротко хмыкнул, но Джорджина, приглядевшись, с пронзительным вскриком бросилась вперед. Дик, огромный сенбернар, лежал там неподвижно, с воспаленными глазами и высунутым языком.

– Он болен, Ал! – воскликнула она. – Пожалуйста, сделай что-нибудь, быстрее!

Доктор посмотрел на Сураму, который произнес несколько слов на неизвестном Джорджине наречии.

– Отнеси его в клинику, – распорядился Кларендон. – Боюсь, Дик заразился лихорадкой.

Сурама взял пса за загривок – так же, как днем раньше брал за шиворот бедного Тсанпо, – и молча понес к зданию близ аллеи. На сей раз он не хихикал, но взглянул на Кларендона с выражением, похожим на настоящую тревогу. Джорджине почти показалось, что Сурама просит доктора спасти ее любимца.

Однако Кларендон не последовал за ассистентом, но несколько мгновений неподвижно стоял на месте, а затем неторопливо направился обратно к дому. Джорджина, потрясенная таким бессердечием, горячо умоляла брата помочь Дику, но все без толку. Не обращая на нее ни малейшего внимания, он прошел прямо в библиотеку, раскрыл большую старинную книгу, что лежала на столе лицом вниз, и погрузился в чтение. Она положила ладонь ему на руку, но он не заговорил и даже не повернул головы. Он продолжал читать, и Джорджина, с любопытством заглянув через плечо доктора, подивилась диковинным письменным знакам, испещрявшим страницы древнего фолианта в переплете с медными накладками.

Пятнадцать минут спустя, сидя в одиночестве в маленькой темной гостиной по дружую сторону от холла, Джорджина приняла решение. Что-то было неладно – что именно и насколько, она даже думать боялась, – и настало время призвать на помощь силу более действенную. Разумеется, речь могла идти только о Джеймсе. Он человек сильный и умный, а его сочувствие и любовь подскажут ему, как следует поступить. Он знает Ала с юных лет и все поймет.

Несмотря на поздний час, Джорджина решила действовать безотлагательно. В библиотеке по-прежнему горела лампа, и она с тоской взглянула на освещенный дверной проем, надевая шляпу и бесшумно покидая дом. От ворот мрачной усадьбы было рукой подать до Джексон-стрит, где Джорджине повезло поймать экипаж, который довез ее до телеграфной конторы компании «Вестерн Юнион». Там она, тщательно подбирая слова, написала Джеймсу Далтону телеграмму с просьбой немедленно вернуться в Сан-Франциско в связи с делом, чрезвычайно важным для всех них.

V

Неожиданное послание Джорджины повергло Далтона в глубокое недоумение. Он не получал никаких известий от Кларендонов с того бурного февральского вечера, когда Альфред отказал ему от дома, и сам в свою очередь старательно воздерживался от общения с ними, даже когда очень хотел выразить им сочувствие в связи с увольнением доктора с должности без всяких объяснений. Губернатор отчаянно боролся со своими политическими противниками, пытаясь сохранить за собой право назначения, и горько сожалел об отставке человека, которого, несмотря на недавний разрыв отношений, по-прежнему считал непревзойденным образцом научной компетенции.

Сейчас, прочитав сей явно испуганный призыв о помощи, Далтон терялся в догадках по поводу случившегося. Однако он знал, что Джорджина не из тех, кто легко теряет голову или поднимает тревогу по пустякам, а потому не стал терять времени даром: он сразу взял билет на поезд, отходивший из Сакраменто через час, а по прибытии в Сан-Франциско отпра-

вился прямым в свой клуб, откуда послал Джорджине записку, уведомляя, что он уже в городе и находится в полном ее распоряжении.

Между тем обстановка в доме Кларендонов выглядела спокойной, несмотря на угрюмую молчаливость доктора, решительно отказавшегося сообщать какие-либо подробности о состоянии пса. Тени зла, казалось, наводняли старинный особняк и неумолимо сгущались, но в настоящий момент там царил временное затишье. Джорджина испытала облегчение, получив записку и узнав, что Далтон готов в любой момент прийти на помощь, и в ответ написала, что немедленно обратится к нему, когда возникнет такая необходимость. В тяжелой напряженной атмосфере дома, однако, слабо ощущался и некий умиротворяющий элемент, и Джорджина в конце концов решила, что все дело в исчезновении тощих тибетцев, чьи уклончивые скользкие повадки и экзотическая наружность всегда раздражали ее. Они куда-то пропали все разом, и старая Маргарита, единственная оставшаяся в доме служанка, сказала, что они помогают хозяину и Сураме в клинике.

Утро следующего дня – памятного дня 28 мая – выдалось пасмурным и хмурым, и Джорджина почувствовала, как ненадежное затишье сходило на нет. По пробуждении она не застала брата дома, но знала, что он усердно трудится в клинике, невзирая на отсутствие подопытного материала, на которое сетовал накануне. Она задавалась вопросом, как там дела у бедного Тсанпо и действительно ли он подвергся какой-нибудь опасной прививке, но следует признать, в первую очередь ее интересовал Дик. Ей страшно хотелось узнать, сделал ли Сурама что-нибудь для верного пса, к судьбе которого его хозяин отнесся с таким странным равнодушием. С другой стороны, явное беспокойство, выказанное Сурамой при виде заболевшего Дика, произвело на нее сильное впечатление, и это было самое положительное из всех чувств, когда-либо испытанных ею по отношению к ненавистному ассистенту. Теперь с каждым часом Джорджина все чаще ловила себя на мыслях о Дике, – и наконец, в нервическом возбуждении представив историю с псом как своего рода символическое воплощение всего зла, тяготевшего над усадьбой, она поняла, что не в силах долее выносить мучительную неизвестность.

До той поры она всегда уважала категорическое требование Альфреда не беспокоить его в клинике, но по ходу того рокового дня в ней все сильнее крепла решимость нарушить запрет. В конечном счете она стремительно вышла из дома, пересекла двор и вошла в незапертый вестибюль запретного здания с твердым намерением выяснить участь собаки и причину скрытности брата.

Внутренняя дверь была, по обыкновению, закрыта на замок, и за ней слышались возбужденные голоса. Когда на стук никто не отреагировал, Джорджина загремела дверной ручкой по возможности громче, но голоса продолжали горячо спорить, ни на миг не умолкая. Они принадлежали, разумеется, Сураме и доктору; и пока Джорджина стояла там, пытаясь привлечь к себе внимание, она не могла не уловить общий смысл разговора. По воле судьбы она во второй раз оказалась в роли подслушивающего, и вновь ее самообладание и выдержка подверглись тяжелому испытанию. Между Альфредом и Сурамой явно происходила ссора, принимавшая все более ожесточенный характер, и долетавших до слуха Джорджины речей было достаточно, чтобы возбудить самые дикие страхи и подтвердить самые худшие опасения. Она вздрогнула, когда голос брата резко возвысился и в нем зазвучали исступленные фанатические нотки.

– Ты, черт бы тебя побрал, – ты говоришь мне о поражении и необходимости умерить свои притязания?! Да кто, собственно, заварил всю эту кашу? Разве я имел хоть малейшее представление о ваших проклятых дьяволобогах и предсуществовавшем мире? Разве я когда-нибудь думал о ваших чертовых надзвездных безднах и вашем ползучем хаосе Ньярлатхотепа? Я был нормальным ученым, пропади ты пропадом, пока сдуру не вытащил из катакомб тебя со всеми твоими сатанинскими тайнами Атлантиды. Ты постоянно подстрекал, подзуживал меня, а теперь ставишь палки мне в колеса! Ты шатаешься без дела и призываешь меня не торопиться, хотя вполне мог бы пойти да раздобыть подопытный материал. В отличие от меня ты

прекрасно знаешь, как решаются подобные проблемы – ты наверняка понаторел в таких делах еще до сотворения Земли. Как это похоже на тебя, ты, проклятый ходячий труп, – затеять историю, которую ты не хочешь или не можешь закончить!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.